ТОМ ТРЕТИЙ

# КОЛЕСО

# СУШНЯК



Сергей Лозов

# Сергей Лозов
# Колесо.Сушняк

*https://litres.ru/74974822*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Колотов стоит на счёте. Дедов счёт «семь и одиннадцать» живёт не в бумаге — в земле, в кладке, в ткани и теперь в свече. Гоша, подмастерье кузнеца Гуннара, построил колесо, поднял сушняк и выучился читать то, чего не записано ни в одной книге. Но счёт, который стоит, всегда хочет чей-то вопрос: кто резал столб снизу вверх, кто вскрыл Мельхеров ход, кто держит стук под ручьём и почему колодец не замерзает всю зиму? В двух книгах этого тома — колесо, которое пьёт воду, и сушняк, который спасает зерно трёх сёл; ткачиха, носящая счёт на плечах; медяки без чекана и школа, у которой было пять учеников и одна тайна: «кто третий — не пиши». Хартвиг платит железом и молчанием, Тимоха продаёт цену, не имена, Кусака переводит с собачьего на человеческий. Свет ещё не горел, когда шестая книга кончалась. Теперь он зажигается — но школа ходила этой дорогой раньше, и адрес, который дед сжёг, ведёт в город.

# Сергей Лозов
# Колесо.Сушняк

**Том третий**

**Книга пятая. Колесо**

**Глава первая. Верста первая**

Ночь стояла ватная. Туман лежал на бахче и не шевелился, как лежалый хлеб. Кусака шла впереди на четыре шага — она всегда держит четыре, я мерил. На трёх — значит, впереди кто-то есть. На пяти — значит, я сам дурак и иду не туда.

Кусака держала четыре.

Мы вышли из кузницы в третьем часу. Гуннар не пожелал мне ни удачи, ни сна. Он сказал: «Гвоздь у тебя есть. Остальное приложится». У Гуннара всё прикладывается, как у печки дрова. Печка при этом остаётся тёплой, а ты — нет.

— Почему ночью? — спросил я его уже в дверях. Вопрос был неправильный, и я это знал.

— Потому что днём труба спит, — сказал Гуннар. — А ты хочешь услышать, как она дышит.

— Откуда ты знаешь, что она дышит?

— От деда, — сказал Гуннар и закрыл дверь. Не передо мной — перед тем, что собирался сказать дальше.

Дед у нас считал дни зарубками на дощечке: одна в день, семь за подковы, восьмая — когда конь пойдёт. Дощечка ви-

села на верстаке, и я с осени вёл свой счёт по дедовой выправке. Счёт, которого не ведут, умирает, — это он мне сказал, когда отдал резец. Резец, между нами, мне не дали — его дали: не отнимают, а вкладывают в руку, и я до сих пор не понял, что было хуже.

Столб стоял на границе — там, где кончается наша земля и начинается ничья. Ходил я к нему семь вылазок. За каждую резал зарубку — одну, по краю. Семь раз резал — семь зарубок стояло. Восьмую я сделал позавчера и помнил её на ощупь, как зуб во рту: моя, снизу вверх, узкая, резец шёл легко, дерево поддавалось.

Девятую я увидел за десять шагов.

Она была не моя.

Свежая: надрез светлый, дерево в надрезе ещё живое и чуть светится в тумане, как светится мокрый лоб. Края не затянулись. День. Может, два.

И резана она была сверху вниз.

Я режу снизу вверх. Все, кого я знаю, я на своей памяти резал снизу вверх: Копейка — вверх, дьяк — поперёк, Гуннар вообще не режет, у него руки заняты весом. Сверху вниз режет рука, которая тянет вниз, потому что выше не встала. Или потому что ей так сподручнее с колен.

Я не успел додумать это до конца, потому что Кусака встала.

Не зарычала — встала. Так она встаёт перед тем, чей запах не понимает. В прошлый раз она так встала перед ходом под

башней, и тогда запах был Эйнаров: горн и старое железо. Эйнар ночевал в нашей кузнице, его запах я знаю, как знают голос: он не спорит, он стоит.

Я снял рукавицу и поднёс ладонь к зарубке. Кусака потянула носом и осела на круп.

Запах был. Вода и глина. Синяя глина — та самая, про которую Тимоха говорил: в подполе пустых воза, свежая, он видел сам.

Не Эйнаров запах. Значит, зарубка не его.

Тогда я сделал то, чему дед меня учил молчать: замерил. Достал узелок — верёвочку с воском, мою мерку, — обвёл надрез, затянул. Глубина вышла в два гвоздевых калибра, ширина — на палец уже моей. Чужая рука резала мельче и держалась ровнее, чем моя на восьми вылазках. Так не режут торопясь. Так режут, когда счёт ведут не для себя.

Я провёл пальцем по соседней, своей зарубке, и понял ещё одну вещь. Мой резец при нажиме съедает дерево с трещиной — у меня рука тяжёлая, дедова школа: бьёт, а не пишет. А этот надрез был гладкий по дну, без трещины, с одним сыпком опилки на концах. Так режет не сильная рука. Так режет выученная: та, которую учили не силе, а счёту. Городская школа. Тонкая, как на подкове Прохорова каравана, где восьмое отверстие заварено железом по железу, без свинца.

Две руки в этом мире режут, как пишут. Одна из них живёт под башней и стучит три медленно, один быстро. Вторая резала эту зарубку — и стучит ровно.

Я стоял над столбом и считал до двух. Дед говорил: когда не знаешь, что делать, — считай. Счёт не подсказывает. Счёт просто не даёт рукам решить раньше головы.

И тогда я услышал стук.

Он шёл из-под земли — далеко, ровно, терпеливо, как идёт полировка: не сила, а время. Эйнар стучит три медленно, один быстро — этот ритм я знаю наизусть, я его ждал под башней и слушал, пока не выучился отличать от стука сердца.

Этот стук был другой. Ровный. Без вопроса.

Я положил ладонь на землю. Земля была холодная и мёртвая, а под ней кто-то жил и работал. Между нами, я не испугался. Я испугался после — когда понял, что ровность страшнее ритма: ритм отвечает на вопрос, а ровность ничего не спрашивает. Ей всё равно, кто слушает.

Я простоял у столба до того, как похолодела рука в рукавице, — дед говорил: рука холодеет раньше страха, это первый прибор кузнеца. Стук не изменился ни на удар. Я ушёл, и он остался. Так уходишь от колодца, а вода в нём остаётся.

Назад шли быстрее. Кусака держала пять шагов вперёд, значит, по её счёту я был дурак, который идёт не туда. Спорить с собакой я не стал: у неё своя карта, и на ней всё, что пахнет водой и глиной, помечено плохо.

На середине обратной дороги стук я услышал снова — с бахчи, с открытого места, где слышно всё, что идёт по земле. Он шёл не из-под столба. Он шёл от ручья. Я остановился и

думал, что я слышу: вроде вода, а вода не бьёт с промежутком. Вода шумит сплошь, как болтливая баба. Этот звук был как человек, который кладёт одно слово и ждёт, тыкается ли оно.

— Труба, — сказал я Кусаке вслух. — Труба, а не башня.

Кусака посмотрела на меня и пошла дальше. В её переводе это значило: ты и так это знал, а сказать вслух тебе было нужно, потому что ночью вслух не страшно.

Дома горн ещё держал тепло. Гуннар сидел у горна и не притворялся, что спит.

— Ну? — сказал он.

— Девятая. Свежая. Сверху вниз.

Он молчал. Потом спросил — и спросил раньше, чем я успел рассказать про запах:

— Запах?

— Вода и глина. Синяя.

— Не Эйнар, — сказал он. Это был не вопрос, и оттого страшнее.

— Не Эйнар, — сказал я. — И стук не Эйнаров. Ровный.

— Резала как?

— Мельче меня. На палец уже. Узелок лёг — я мерил.

Гуннар положил клещи на наковальню — аккуратно, по местам. Когда Гуннар кладёт инструмент по местам в ненужное время, значит, в голове у него идёт счёт, который не выносят наружу.

— Слушай меня, лопух. — Он повернулся. — Чужая за-

рубка на твоём счёте — это не кража. Это приглашение. Вопрос только в том, на что тебя приглашают.

— А если не приглашение? — спросил я.

— Тогда это очередь, — сказал Гуннар. — И тебе решать, за кем ты стоишь.

Я хотел спросить, почему он спросил про «сверху вниз» раньше времени. Но Гуннар уже смотрел в горн, а горн смотрел в ответ, и вопросы в такой момент застревают.

В горнице пахло похлёбкой. Мальфрида налила мне миску и поставила рядом вторую — пустую. Вторая миска значит: за столом будет разговор, а разговор с Мальфридой едят медленно.

— Ты ходил к столбу, — сказала она. Это не было вопросом. Она знает про мою ходьбу то, чего не знаю я сам.

— Ходил.

— И?

— Девятая зарубка. Чужая.

— А собака что?

— Села. Не лает.

— На чужого не лает тот, кто знает чужого, — сказала Мальфрида и забрала пустую миску. — Ешь.

Я ел.

— Дед твой резал зарубки днями, — сказала она через миску. — День — зарубка, и всё. Не за радость, не за беду. За день.

— А я за вылазки.

— А ты теперь режешь за события. Восьмая зарубка — потому что восьмая вылазка? А девятая у него уже своя. Ты считаешь дело, а он считает тебя.

— Это как?

— Так, что дед твой резал время, а этот режет внимание. — Она забрала мою миску раньше, чем я доел дно, — значит, разговор кончился. — Ложись. Ночь короткая, а ты в ней не спал.

Кусака легла у порога — мордой наружу. Так она легла в ту ночь, когда стучали из-под земли в первый раз. Она сторожит не дверь. Она сторожит землю.

Я лёг и стал считать — не зарубки, шаги. Три версты туда, три обратно, девятая зарубка поверх восьми. Выходило ровно, а спалось плохо, потому что ровность — это то, чего я боюсь теперь больше всего: ровный стук, ровный запах, ровная рука.

Утром я нашёл на пороге кузницы подкову.

Тёплую.

Кусака сидела над ней и не подходила. Сидела так, как сидят над чужой вещью, которую нельзя трогать: не уходит и не трогает. Я потянул носом — подкова пахла водой и глиной. Синей.

Я взял её двумя руками, как берут чужое, — и поставил на крыльцо, на свет. Железо было доброе, воловье, с клеймом у края — клеймо цеха, стёртое, но читаемое, как читают монету, которую гоняли по рукам. Своё клеймо я на этой под-

кове не нашёл. Нашёл только девятое отверстие — чистое, ровное, как чеканка.

Я не стал выковыривать свинец. Палец сам тянулся к клещам, а голова говорила: свинец, который принесли к твоему порогу, — это письмо. Письмо вскрывают в доме, а не на пороге и не чужими зубами.

Она лежала подковой вниз, как кладут не выбрасывать, а показать. Восемь отверстий — ровных, городских, той руки, что режет, как пишут: такие я видел у Прохорова каравана, с заваренным восьмым. А девятое, там, где у обода оставался узкий, ничей кусок, — пробито.

И в девятом стоял свинец.

Свинец — это то, чем заливают отверстие, чтобы его не нашли. Дед говорил иначе: свинец — для тех, кто хочет, чтобы нашли. Железо по железу заваривает тот, кто хочет скрыть. Свинец кладёт тот, кто хочет, чтобы сняли свинец и увидели.

Кто-то нёс мне подкову в темноте — тёплую, до света, как нёс её Эйнар, — и в девятом отверстии просил: найди.

Копейка пришёл с рассветом, вёл Бойку на выравнивание подковы — это значит, что подкова скинулась на броде и Бойка хромал так жалко, что смотреть было больно всем, кроме самого Бойки: он думал, что хромает красиво.

— О, — сказал Копейка и увидел подкову на крыльце. — Чья?

— Не знаю.

— А Бойке можно понюхать? Он всё равно понюхает, но с разрешения он нюхает спокойнее.

— Можно.

Бойка потянулся к подкове, потянул носом — и отдёрнул голову, как отдёргивают руку от печки. Потом потянулся опять. Потом пятнулся и стал смотреть на подкову из-за Копейкиного бока, как смотрят из-за забора на чужого кобеля.

— Он думает, что подкова чужая, — сказал Копейка.

— Он думает правильно.

— Он думает, что подкова пахнет нашей речкой. Наша речка пахнет тиной. А эта пахнет глиной с глубины — там, где речка уже не наша, а чья-то. — Копейка почесал Бойку за ухом. — Мой отец говорит: конь боится не запаха. Конь боится запаха из того места, куда он не ходил.

Между нами, я никогда не думал, что Бойка умнее половины деревни, но в это утро он обошёл меня на целый вопрос: я знал, что пахнет глиной, а он знал, что глина — не наша.

Гуннар вышел на крыльцо, посмотрел на подкову долго и сказал:

— Не бери в кузницу.

— Почему?

— Потому что её принесли к порогу, а не к наковальне. Значит, вопрос задают хозяину дома.

Он присел над подковой, посмотрел на девятое отверстие и поднял на меня глаза — а у Гуннара взгляд снизу вверх

поднимается редко, так что я понял: сейчас будет не сентенция, а правда.

— Свинец в девятом, — сказал он. — Свинец кладёт тот, кто хочет, чтобы нашли. Нашёл ты уже. Теперь у них другой вопрос — нашёл ли ты то, что они хотели, чтобы ты нашёл.

— А это разве разные вещи?

— Разные. Первое — это подкова. Второе — это ты. — Он выпрямился, и спина его сказала своё, но он не поморщился, а это у него значит: разговор важнее боли. — Свинец можно выковырять. Не выковыривай. Пусть лежит до дьяка. Дьяк по свинцу определит плавильню: чей горн плавил. А чей горн плавил — по тому и рука.

— Ты знаешь, чей горн?

— Я знаю, что не наш, — сказал Гуннар и ушёл в кузницу. Хозяин дома ещё не решил, отвечает он или нет. И то, что он ушёл молча, было ответом, который он решил пока не оглашать.

Кусака осталась сидеть над подковой. Она сторожила чужую вещь, которую нельзя трогать, — и не пускала к ней даже меня.

**Глава вторая. Горница**

— Не куй до полудня, — сказал Гуннар. — Куй после. Утром железо врёт: оно тёплое от печки, а не от горна, и ты поверишь вранью.

— А что делать до полудня?

— Считать. Ты вчерашние шаги считал? Считай сего-

дняшние. У тебя с вчерашнего дня остался один вопрос, и он у тебя в руке.

— В руке?

— В той, которой ты не держал узелок. — Он вышел в горницу и через минуту вернулся с дедовой дощечкой. Положил её на верстак. — Резец узнёшь?

Я узнал. На дощечке с осени резались мои дни: ровный столбик, семь за подковы, дальше — по одному. Столбик стоял недоделанный: я резал его до той ночи, когда стучали из-под земли в первый раз, и после той ночи не резал ничего.

— Почему столбик кончился? — спросил Гуннар.

— Потому что после той ночи я считал не дни. Я считал стук.

— А надо было оба, — сказал Гуннар. — Счёт — это не палец и не молот. Счёт — это две руки. Одна считает твоё, другая считает чужое. Как только одна рука бросила счёт — ты начал платить за оба счёта одной. — Он убрал дощечку. — Дед мой водил меня к роднику, когда тебя не было на свете. Он говорил: у всякой воды есть подкладка. Я не понял его тогда. Я понял тебя теперь — и то не сразу.

Дьяк пришёл до полудня и пришёл не по-дьячьи: без книги, без бересты, в одном подряснике и с глиняной трубочкой в кулаке. Трубочка была в длину с мою ладонь, гладкая, обожжённая, а внутри — нарезка: семь зарубок по стенке и одна сквозная, ровные, как горошины в ряду у доброй хозяйки.

— Ты нёс это? — спросил он и положил трубочку на вер-

стак.

— Это ты принёс.

— Я нёс из горницы, а ты нёс от столба весть. У дьяка работа такая: носить ответы туда, где задали вопрос. — Он посмотрел на крыльцо, где лежала подкова. — Теперь и вопрос несут к моему дому. Хорошая примета или плохая, решит тот, кто доживёт.

Гуннар кивнул мне: показать. Я поднял подкову и повернул девятым отверстием к свету. Свинец лежал в отверстии глухо, без блеска, как ложится свинец, если его лили в холодное.

Дьяк взял подкову, поднёс к носу и не понюхал, а подышал — так дышат над котлом, определяя, что варится. Потом положил обратно на крыльцо, в то же место, откуда взял. Дьяк не переставляет чужих вещей: он суеверен, как все, кто работает со словами.

— Плавильня не наша, — сказал он. — И не цеховая. Цех плавит на дубовом угле, огонь у них злой и быстрый: свинец у них ложится с блеском, они его потом и сдирают зубами, у меня есть образец. Здесь свинец лили на мягком огне — ивовый уголь, медленный, ровный. Так плавят не в кузнице.

— Где?

— У воды. — Он посмотрел на меня. — Ивовый уголь держат у ручья, лопух. Иву нужен ручей. У нас один ручей на три версты.

Я вспомнил, как стук шёл от ручья, — и вспомнил, что

глина с трещины у столба пахла горном. Две вещи встали в ряд, как встают полосы на наковальне: не сами, а потому что их так положили.

— Труба идёт от ручья к башне, — сказал я. — Не наоборот.

— А ты думал иначе?

— Я думал, что она просто есть. А у неё, оказывается, есть направление.

У направления, между нами, есть хозяин, и это было то, о чём я подумал, но вслух не сказал: вслух я сказал другое.

— Дьяк, а нарезка внутри трубочки — это что?

— Это порог, — сказал дьяк. — Семь оборотов и один прогон. Кто делал эту трубу, ставил в неё счёт: семь оборотов — рабочий ход, один прогон — сброс. Так пекарь ставит в квашню счёт: семь мешаний, один покой. — Он помолчал. — Я знаю этот счёт по бересте. Там, где я учился грамоте, такое счисление звали водяным.

— Ты умеешь его читать?

— Читаю. Не считаю.

И тут в кузницу вошла Пелагея. Она не вошла — её вошли: отец встал раньше, чем она переступила порог, и подвинулся, освобождая место, а место в кузнице освобождают редко.

— Я слышала через двор, — сказала она. — «Водяной счёт». Дай.

— Нельзя, — сказал дьяк.

— Почему?

Это был тот самый вопрос, который девкам в нашем доме не полагается. «Почему» — это вопрос причины, а причины — это мужское знание: муж знает почему, жена знает как. Пелагея знала это лучше всех, потому что жила в этом доме. И всё же она спросила.

Дьяк посмотрел на неё долго. Я стоял и не знал, куда девать глаза, — потому что то, что происходило в горнице, не было про глину.

— Слушайте оба, — сказал дьяк наконец. — Семь оборотов — рабочий ход: вода идёт, воздух выдавливается, труба дышит. Один прогон — сброс: труба пугается, чистится, гонит всё лишнее вниз, к роднику. Кто умеет считать эти обороты по стуку, тот знает, когда труба работает, а когда — чистится. Когда труба чистится, она открывается наверх.

— И в этот момент по ней можно войти, — сказала Пелагея. Она не спросила. Она сказала.

— И в этот момент по ней можно войти, — согласился дьяк.

— А кто-то уже вошёл? — спросил я.

— На этот вопрос у меня есть ответ лучше слова, — сказал дьяк. — Есть подкова со свинцом на твоём пороге. Тот, кто хочет, чтобы нашли, сам себе цену знает. — Он взял трубочку и сунул её мне. — Возьми. Это тебе теперь, лопух: у тебя из всех нас единственного совесть работает при свете.

— Это почему?

— Потому что ты задал вопрос «почему остальные вышли так» и не снял с себя этого вопроса. А мы, взрослые, снимаем. У нас это называется смирением.

Он ушёл, и Пелагея пошла за ним, но у порога обернулась и сказала — тихо, для меня одного:

— Я умею считать обороты по стуку. Дед мой считал по свечам, а я по стуку. Это не «почему», это «как», и «как» мне полагается.

И ушла. У дьяковых дочерей всё завязано: ризы, мешочки, души. Души завязывать труднее всего, потому что узел надо ставить самому.

И ушла. У дьяковых дочерей всё завязано: ризы, мешочки, души. Души завязывать труднее всего, потому что узел надо ставить самому.

Она вернулась через четверть часа — я успел только дойти до верстака. Вернулась так, как возвращаются не за вещью, а за решением: с прямой спиной и поднятым подбородком.

— Мне нужна твоя верёвочка, — сказала она. — С узелками. Восковая.

— Мерка?

— Мерка. Я буду мерить то, чего мерить нельзя.

— Это как?

— Обороты. Ты держишь трубочку у горна — а я на слух. Семь оборотов и один прогон: если у меня в руках узелки, я снимаю счёт со стука, как снимают счёт с веретена. — Она

протянула руку. — Дай. Ты всё равно меряешь ею копыта, а у меня вопрос поважнее коня.

Я отдал. Она повязала мерку на запястье, как повязывают не инструмент, а обещание, и ушла — но у порога обернулась:

— Гоша. Твой стук и мой стук — это один стук?

— Я не понял.

— Тот, который из-под земли. Он стучит как твой молот по счёту или как чужой?

— Я... — и я понял, что не знаю. Я слушал стук как слушают грозу: далеко. А надо было слушать, как слушают наковальню: по звону. — Я скажу после сегодняшней ночи.

— Скажи. Только не после всякой ночи, а после той, где ты слушал. Иначе будет враньё, а враньё с узелками не сходится.

Кусака в это время сидела над подковой и не подпускала к ней муху. Муха прилетала, садилась на девятое отверстие, и Кусака щёлкала зубами — не кусала, щёлкала. Муха улетала. Я не понял, кого она сторожила: подкову или муху. С Кусакой это одно и то же: она сторожит от лишнего.

Тимоха нашёл меня в сумерках, у крыльца трактира. Он сидел на завалинке, чистый, как будто весь день тщательно ничего не делал, и рядом с ним стоял чугун с водой — он носил воду матери, и вода была его алиби на весь вечер.

— Подкова со свинцом, — сказал он. — Вся деревня знает. Вся деревня, лопух, знает всё, кроме того, что важно. Хо-

чешь узнать, что важно?

— Ты опять будешь продавать.

— Я буду дарить. Разница в том, кто первый протянул руку. — Он пошевелил пальцами. — Дай один разговор в долг. Я верну с процентами.

— Какими?

— Увидишь.

Я сел. Мальфрида запрещает мне сидеть на чужих завалинках — говорит, на чужих завалинках сидят те, кто не знает цены своего горла. Я знал цену своего горла. Она была равна разговору.

— Смешно, — сказал Тимоха. — Кузнец сидит на завалинке трактирщика, как будто он у меня в долгу.

— Я в долгу. Ты дал мне сведения о глине бесплатно.

— Бесплатно? — Он вскинул бровь. Свои брови он поднимал по счёту: одна — удивление, две — торг, ни одной — расчёт. Сейчас поднялась одна. — Бесплатно я дал тебе цену глины. Сведенья я дам тебе цену подковы.

— И сколько?

— Ноль. — Он улыбнулся. — Сведенья я отдаю за долг. Долг у нас с тобой не считается в медяках. Долг у нас считается в разговорах: один за один, и я пока в плюсе на полразговора.

— Кто считал полразговора?

— Я. Я считаю всё, лопух. Даже то, что ты мне не даёшь.

— Синяя глина в подполе, — сказал Тимоха. — Я гово-

рил тебе: пустые воза приезжают дважды в год, стоят ночь и уезжают порожняком. Я сказал тебе, что в подполе глина синяя. Я не сказал, что глина эта — не с нашей дороги. Наша дорога глину возит серую, с колеи. Синяя — это с глубины. С такой глубины, где не копали никто из живых.

— Ты видел, как её привезли?

— Я видел, как её вывозили, — сказал Тимоха. — В подпол подкоп не делают, лопух. В подпол спускаются. И подпол у нас не простой: под ним старая выкладка, камень на камне, без раствора. Я в детстве туда лазил — за разболтанным замком. Отец залепил вход, а камни оставил: на них счёт резан, ровный, как на твоей трубочке.

У меня в груди стало тесно, как становится тесно, когда две вещи, которые ты держал по разным рукам, вдруг оказываются в одной.

— Пустые воза, — сказал я. — Когда они приезжают?

— Дважды в год. Троица и Покров. Но в этот раз... — Тимоха замолчал. Он умеет молчать так, что молчание дороже слова, и я доплатил за это молчание своим терпением.

— В этот раз?

— В этот раз они приехали раньше срока. И уезжали — не с ярмарки. — Он посмотрел мне в глаза. — Они уезжали от башни, лопух. Я видел телеги от башни. Никто не ездит от башни: там дорога кончается. А они уезжали. Порожняком и с чистыми колёсами.

Дьякова сентенция этого дня вышла у порога, на проща-

ние, и вышла она про неодушевлённое, что у дьяка всегда означает одушевлённое:

— Чужая работа — это чужие косточки. Пока их не поднимешь, они лежат на тебе.

Я записал эту сентенцию в голове рядом с дедовой: счёт, которого не ведут, умирает. Дед учил считать своё. Дьяк учил поднимать чужое. Между ними, между нами и этим ровным стуком, лежала труба — семью оборотами и одним прогоном.

Кусака легла у моей лавки и положила голову мне на сапог. У неё это значит: я здесь, а ты подумай за нас обоих. Я думал. В последнем абзаце этой ночи я понял то, чего не понимал до сих пор: пустые воза едут за монетой без чекана. Монета лежит там, куда дед не ходил. И тот, кто едет за ней дважды в год, не ходит к колодцу — он ходит по трубе. Синяя глина — не привозная. Синяя глина — поднимаемая.

И значит, у терпеливого стука есть хозяин. И хозяин этот умеет резать зарубки сверху вниз.

**Глава третья. Ручей**

— Почему после? — спросил я.

— Потому что днём труба спит, а вода — нет. Дневная вода честнее ночной: она показывает то, что показывала всегда, и не показывает того, чего никогда не было. — Он завязал мне рукавицы на шнурке, как завязывают ребёнку, и я не сказал ни слова, потому что рукавицы на шнурке в этом доме были честью, а не унижением. — И слушай воду, а не

страх. Вода прячет следы только от тех, кто не умеет ждать.

— Это сентенция?

— Это наставление. Сентенции на дорогу не выдаю. На дорогу я выдаю тебя — живым.

Я шёл вдоль русла, и Кусака шла на четырёх шагах — четыре значит «всё в порядке», и весь порядок был во мне одном, потому что порядок в кузнице оставался, а порядок у ручья кончался.

По дороге я вспоминал то, что Гуннар сказал утром в горнице: «Дед мой водил меня к роднику, когда тебя не было на свете». Гуннар сказал это ровно, как говорят про погоду, и так же ровно умолчал остальное. Я думал об этом шагами. Шагов выходило на три версты много, и за каждый шаг можно было подумать о чём-то новом, но я думал об одном: дед водил Гуннара к роднику. Дед, который держал в голове водяной счёт. Дед, у которого в ящике со старым железом лежала монета без чекана.

Значит, дед знал про трубу. И молчал о ней столько лет, сколько я живу.

Я не обиделся. Обида — это то, за что платят сразу и дорого; я это выучил на Прохоровом караване. Я просто положил это знание на ту полку, где лежит то, что учит, — и пошёл дальше, слушая воду.

Ручей у нас неширокий: сапог перешагнёт, конь переходит по брюхо. Летом он шумит, как болтливая баба, а в эту осень шумел тише, чем положено, — и тишина эта была не

от малой воды. Вода была. Она шла, и она куда-то делась.

Я увидел подводу за первой излучиной.

Камни лежали вдоль русла — большие, вросшие, обросшие тиной с той стороны, с какой тина не растёт. Тина не растёт на камнях, которые лежат тёплыми. Я опустил руку в воду — камень под водой был тёплый. Не от солнца: солнце за излучиной не стояло с обеда. От другого тепла, которое поднималось снизу, как поднимается от живого.

— Лопух, — сказал я себе вслух, потому что вслух не страшно. — Это не плотина.

Плотину кладут поперёк. Это лежало вдоль.

Я стал мерить. Узелок обвёл первый камень, затянул, снял. Потом второй. Потом третий. Шаг кладки выходил одинаковый — как удар по счёту, как удар дьяковой трубочки, семью оборотами. Камни лежали не как лежат камни: камни лежат как попало, это их природа. Эти лежали как кладут железо — с шагом.

Я снял сапоги и вошёл в воду по щиколотку. Холод взял сразу, а через десять шагов стало тепло — не так, как теплеет от солнца, а снизу, из-под камней. Вода над кладкой была на ладонь теплее воды у берега. Это плохая вода для рыб и хорошая вода для тех, кто бережёт железо: тёплая вода не рвёт шов.

Шов я нашёл не сразу. Он шёл по внутреннему краю кожуха, тонкий, без раствора — камень по камню, подогнанный так, как подгоняют не камень, а металл. В шов была вставле-

на глиняная нарезка — узкая, обожжённая, с той же мерой, что у дьяковой трубочки. Я снял её с воды, вытер рукавицей и положил обратно — дьяк не переставляет чужих вещей, и я старался не переставлять тоже: чужая работа, по дьякову счёту, это чужие косточки.

Потом я посчитал излучины. От первой до второй — семь шагов кладки. От второй до третьей — семь. Седьмой шаг в каждой излучине был длиннее — на узелок, на прогон. Семь оборотов и один сброс. Так не кладут дороги и так не кладут плотины. Так кладут механизм, который дышит.

И тогда я понял то, отчего сели мои ноги.

Ручей не тек по земле. Ручей тек по жёлобу. Камни — это кожух, надводная верхушка; под ними, в глубине, шла кладка, и кладка эта шла вдоль русла, от родника к башне. Труба, про которую стучали, была не под полем и не под бахчей. Труба была под нашим ручьём — и наш ручей был уже не наш. Он тек по чужому жёлобу, как течёт вода в жёлобе, который поставил чужой человек.

Между нами, я сел в тину. Сел не от страха — от того, что колени вышли так, как выходят гвозди: одиннадцать из сорока. Дед говорил: колени — это те же гвозди, и надо знать, почему остальные вышли так, как вышли. Остальные вышли, потому что я был в мире, где ручей стоит на чей-то кладке, и эта кладка тепла, как рука.

Я сидел в тине и думал, что теперь мне точно не отмыться, — и тут с берега послышалось хлюпанье и добродушное

пыхтение. Копейка вёл Бойку на водопой. Бойка шёл и всё нюхал, как нюхает конь, который идёт не по своей тропе.

— О! — сказал Копейка. — Ты тут мокрый. Ты купаешься или тонешь?

— Изучаю.

— Что изучаешь?

— Воду.

— Вода, — сказал Копейка с уважением, — штука полезная. Я её изучаю каждый день: пью. И знаешь что? Она всё время разная. Утром холодная, вечером холодная, а я всё равно пью — потому что пить хочется. — Он посмотрел на мокрого Гошу с жалостью, на которую способен только человек, никогда не сидевший в тине. — Хочешь, я помогу тебе встать? Я тяжёлый, я как якорь.

— Якорь помогает тем, кто тонет. Я не тону.

— Значит, ты изучаешь воду, сидя. — Копейка кивнул. — Умно. Сидя всегда умнее.

Бойка в это время подошёл к ручью над подводой — и встал. Не пить. Он наклонил голову, потянул носом и отпрянул, как отпрянул утром от подковы.

— Он не пьёт, — сказал Копейка удивлённо. — Он никогда не отказывается от воды. Он однажды пил из лужи с золой.

— Веди его ниже по течению. За излучину.

— Почему?

— Потому что тут вода тёплая.

— Тёплая вода плохая?

— Тёплая вода чужая.

Копейка не спросил, как вода может быть чужой. Он повёл Бойку за излучину, и конь там пил так, как пьют после долгой дороги: с благодарностью и шумом. А я остался над тёплой водой и подумал то, между нами, чего не подумал бы никакой взрослый: конь понял про кладку раньше кузнеца. Кони не читают счёта. Кони читают то, что под счётом.

Я встал и пошёл к роднику.

У родника вода била из-под валуна, и валун был старый, в мох, в накипь, в историю. Я обошёл его с солнечной стороны — и увидел след.

Отпечаток сапога. Узкий, с косым носом, не наш: наши сапоги широкие, чоботные, для грязи. Этот был след человека, который ходит по камню. Вода в следе не набралась — значит, след был свежий: ночь, может, два.

Я приложил к следу свою ступню — через рукавицу, как положено мерить чужое. След был на два пальца длиннее моего и уже на палец. Тот, кто ходил, весил меньше меня или ходил легче. И ходил он не один раз: вокруг следа лежали ещё, старее, вросшие в мох, — один, два, три. Дед водил сюда Гуннара. А кто-то водил сюда себя — много раз, через годы.

На краю свежего следа в тине лежал кусок синей глины — выдавленный, как выдавливается из-под подошвы то, что стоит внизу. Я поднял его. Глина пахла горном. Я сунул её за пазуху: у меня с этой глины теперь счёт, и счёт надо нести

домой, а не выбрасывать.

А на самом валуне, выше следа, стояла зарубка.

Свежая. Светлая. Резана сверху вниз — той самой выправкой, узкой, выученной, без трещины по дну.

Я не мерил её узелком. Я и так знал меру: она совпадала с той, на столбе, как совпадают удары по счёту.

И я сделал то, что не планировал. Я наклонился к воде и сказал в воду:

— Почему остальные вышли так, как вышли?

Это был вопрос, который я носил в себе с осени — вопрос деда, вопрос кузницы, вопрос всей моей жизни здесь. Я не знал, кому его задаю. Я просто задал — в воду, как задают в колодец: потому что колодец отвечает эхом, а вода отвечает молчанием.

Стук под ручьём замолк.

Не стих — замолк. Так замолкает не вода: вода не умеет замолкать по знаку. Так замолкает тот, кто слушал, услышал и решил: над этим стоит подумать.

Я стоял, не дыша. Между нами, я думал в этот момент не о страшном. Я думал о хлебе с солью, который оставил на лавке, потому что Мальфрида сказала «возьми», а я сказал «не успею». В опасных местах голова у меня выкручивается вот так: страх снизу, хлеб сверху. Так живое выживает.

Стук вернулся.

Ровный. Семью оборотами — как трубочка дьяка. А потом — один удар. Один. Как ставят точку, когда предложен-

ный им счёт понимают.

Он не ответил на вопрос. Он записал его в счёт.

Я не стал ждать, что будет дальше, — по правилам Гуннара, после ответа уходят сразу: отвечающий знает цену своего ответа, а спрашивающий не знает. Я уходил берегом, и Кусака не пошла со мной берегом: она ушла по бахче, в обход, — по своей карте, где всё, что пахнет водой и глиной, помечено плохо. Я смотрел ей вслед и думал, что она права по всем правилам собачьей науки: след ведёт в воду, а в воду ходят те, кто не боится мокнуть.

Дома Гуннар ждал у горна. Он посмотрел на мои сапоги — сапоги были мокрые по голенище, хотя воды по колено не было, — и спросил:

— Подвода?

— Подвода. Вдоль русла. С шагом.

— След?

— След. Свежий. И зарубка сверху вниз.

— А стук?

— Я задал вопрос. — И я рассказал про хлеб с солью не потому, что было смешно, а потому, что правду иногда проще проговорить через смешное. — Он замолк. А потом постучал семью оборотами и один раз. Точку поставил.

Гуннар молчал долго. Молчание у наковальни — это четвёртый работник, и сейчас он работал за двоих.

— Подвода целая? — спросил он наконец. — Ты не тронул?

— Снял нарезку, положил обратно. Глину вынес.

— Нарезку трогал?

— Приложил узелок.

— Это трогал. — Гуннар повернулся. — Лопух, на чужой работе нельзя мерить своим. Мерил чужим — и оставил бы чужой след, а оставил свой узелок — и теперь в этой кладке есть твоя мера. Теперь он знает твою руку так же, как ты знаешь его зарубку.

— Он и так знает. Он резал на моём столбе.

— На твоём столбе он знает твой счёт. А теперь он знает и твою меру. Это разные врата, лопух. Одно — запереть можно. Другое — уже распахнуто.

— Что мне делать?

— Ковать, — сказал Гуннар. — Кузнец отвечает на стук работой, а не разговором. Труба дышит семью оборотами — значит, ей нужен хозяин, который умеет семь. Мы ей сделаем колесо, и колесо будет считать само. Пусть у неё будет сосед, у которого счёт в железе, а не в чужой кладке.

Я не понял, как колесо связано с ручьём, но понял главное: Гуннар не запрещает. Гуннар назначает работу. У нас в кузнице запрет — это когда молчат, а назначение — это когда говорят.

— Ты понял, что сделал? — спросил он наконец.

— Задал вопрос.

— Ты задал вопрос не воде. Ты задал вопрос тому, кто ведёт счёт. — Гуннар взял клещи и положил их обратно. — Те-

перь в его счёте записано, что ты умеешь спрашивать. Лопух, у счёта есть одно правило: что записано — то не сотрёшь. Ты теперь в чужой книге.

Я смотрел на горн, и горн смотрел в ответ, и в этом взгляде было то же, что было в ровном стуке: терпение. Только его терпение было моё, а стук — нет.

Кусака в это время сидела на пороге — мордой наружу, как всегда перед тем, что придёт с земли. И в последнем абзаце этого дня я понял то, чего не понимал у родника: он не ответил на мой вопрос, потому что ответ на этот вопрос держит не он. Он держит трубу. А «почему остальные вышли так, как вышли» — это вопрос не к трубе. Это вопрос к тому, кто её сделал.

**Глава четвёртая. Наместник**

Наместник стоял на пороге кузницы и не входил. В дверях стояла Кусака. Она не рычала — она считала. Глаза ходили у неё от лица к сапогам, от сапогов к рукам, и я знал этот порядок: так она проверяет чужого на предмет того, с чем он пришёл.

— Хозяин дома? — спросил наместник.

— Хозяин занят, — сказала Мальфрида из окна. Она вышла с половником наперевес, но держала его не как оружие, а как грамоту: так держат бумагу, против которой бессилен любой меч. — А я здешний приказ. Говори мне.

Наместник, между нами, растерялся. Его звали Хартвиг, и звали это имя у нас шёпотом — так зовут погоду, которая

обещает град. Он был без коня и без свиты, и это было хуже, чем со свитой. Со свитой он бы кричал: крик для свиты и есть инструмент. А без свиты приходилось разговаривать, а разговор — ремесло, которым он не владел.

— Кажется, у вас тут пошумели, — сказал он наконец. — Труба, говорят. От родника до башни. Кто-то копал, кто-то стучит. А барон заказал такую же — и не знает, что она уже стоит.

— Кто тебе сказал? — спросил я.

— Деревня. — Он улыбнулся углом рта. — Деревня у меня на службе, лопух. Не за деньги — за любопытство. Любопытство дешевле, а работает исправнее.

Кусака обошла его сапоги, понюхала и отошла к лавке. Я перевёл её жест сразу: она отходит от тех, кто пуст. Не от злых — от злых она поднимается. От пустых отходит, как от миски, из которой уже вылизали.

— Собака тебя оценила, — сказал я. — Пустой.

— У меня есть бумага. — Он похлопал по сумке.

— Бумага не пахнет, — сказала Мальфрида. — Собаке от бумаги скучно.

Гуннар вышел из дома. Спина держала его прямо, как держит столб, на который навалили, но голос был обычный, и это значило, что спина уже договорилась с телом.

— Наместник, — сказал он. — Ты пришёл спросить или пришёл сказать? Спрашивают у кузницы про железо. Про остальное — к дьяку.

— Я по делу железа. — Хартвиг вынул из сумки сложенный лист и развернул его на верстаке — так разворачивают не письмо, а весы. — Грамота баронская. Вода от родника до замка — баронская. Земля над водой — баронская. Всё, что построено над баронской водой без баронской грамоты, — бесхозное. А бесхозное, как учит цех, — баронское.

— Цех так учит, — сказал Гуннар. — Дьяк учит иначе: у всего, что сделано руками, есть хозяин. И хозяина ищут не по бумаге, а по руке.

— Мне не нужна рука. Мне нужна труба. Узнай, чья она, и доложи. Доля — медяк с десятка, и за медяк с десятка я обещаю только тишину. Откажешься — узнаю без тебя. И тогда труба ляжет на тебя же: ты первый, кто по ней ходил.

Вот, между нами, вся простота наместничьей службы. Он всегда предлагает то, что ты и так собирался сделать, а оплату называет своей милостью. И всегда оставляет петлю: откажешься — та же работа ляжет на тебя сверху.

— А если труба старая? — спросил я. — Старше грамоты?

— Тогда тем хуже для того, кто её строил. Старое бесхозное — тоже бесхозное. Я человек простой. Я не ищу виноватых — я ищу хозяев. Виноватые найдутся сами, как только найдётся хозяин.

— А зачем тебе хозяин, если труба всё равно баронская? — спросил я.

Хартвиг посмотрел на меня так, как смотрят на весы, на которые положили камень.

— Чтобы взыскивать, — сказал он. — Бесхозное я забираю и забываю. А хозяйское я забираю и помню. Помнить выгоднее, лопух: у памяти есть проценты.

— Красиво сказано, — сказал Гуннар. — Сказано, как у ростовщика. Кто приходит за правдой без свиты, уже принёс правду с собой. Только не свою.

Хартвиг не ответил — и это было ответом. Он снял шапку, которую не снимал ни перед кем, кроме Мальфриды, и это было мудрее, чем все его грамоты.

Мальфрида в этот момент внесла из дома квашню и поставила её на завалинку — между нами и наместником. Тесто поднялось через тряпицу, и тряпица медленно ползла вверх, как будто дом дышал.

— Пока тесто поднимается, — сказала она, — вы трое ничего не решите. Садись, наместник. Пустой человек с бумагой на голодный желудок — это беда. Накормим — посмотрим, чья ты беда.

Хартвиг сел. Сел так осторожно, как садятся на лавку, о которой слышали, что она падает. Кусака села перед ним, посмотрела и подала лапу.

Наместник вздрогнул. Между нами, я такого не видел ни разу: человек, который держит волость, вздрогнул от собачьей лапы.

— Она чего? — спросил он.

— Берёт пошлину, — сказала Мальфрида. — С тебя — лапа. У нас тут всё по тарифу.

Хартвиг взял лапу. Кусака позволила — секунды на две — и забрала. Сделка была заключена, и обе стороны, полагаю, считали себя обманутыми.

— И вот ещё, — сказал он, вытирая руку о полу кафтана. — Пустые воза. Дважды в год, весной и осенью. Они платят подать — по старой грамоте, грамота при башне, башня заперта. Подать идёт на имя.

— На чьё? — спросил я.

— На выскобленное. — Он посмотрел на меня в упор. — В податной книге строка выскоблена, и на месте имени осталась одна буква. Мне это не нравится. Имя из книги выскребают только двое: тот, кто умер, и тот, кто не хочет, чтобы его помнили. Умершие скрести редко.

— А что за буква? — спросил я.

— Этого я тебе не скажу. — Он встал и оправил кафтан. — Не потому, что жалко. Потому что если скажу — ты пойдёшь к этой букве, а мне надо, чтобы ты шёл к трубе. Считай это моей грамотой: кто ведёт тебя к делу, тот держит дорогу.

Он ушёл так же, как пришёл, — пешком, по краю деревни, вдоль заборов, как ходят те, кто не хочет, чтобы считали всадников. Кусака проводила его до угла и вернулась раньше него. У собак с дорогами лучше, чем у людей с решениями.

Вечером Тимоха нашёл меня у крыльца трактира. Он сидел на завалинке с кружкой, в которой ничего не было, — кружка при нём служила так же, как борода при Гуннаре: для важности.

— Слышал, наместник ходил пешком, — сказал он.

— Ходил.

— Значит, боится. — Тимоха повертел пустую кружку. — Наместник пешком — это как весы без гирь: сохраняет вид, ничего не решает. Слушай сюда. Возчики у моста шепчутся: воза возвращаются пустые, а след под возом — тяжёлый. Колея глубокая. Пустой воз не режет колею.

— Может, дороги плохие.

— Дорога одна и та же: туда и обратно. — Он поднял палец. — А возчик у тех возов стар, а кони свежие. Не его кони. Ему коней дают. И платят ему не деньгами — я слышал, как он отпирался перед сборщиком. Отпирался так, как отпираются не от жадности, а от страха.

— От какого страха?

— От того, что платят железом. — Тимоха посмотрел на меня. — Возчик сказал: «Мне бы деньгами, да платят не деньгами». И осёкся, и больше ни слова. У него, лопух, подать из железа. А железо — это не монета. Железо — это работа.

— Чья работа?

Копейку я встретил утром у конюшни. Он держал Бойку под уздцы, и Бойка вёл себя не как конь, а как сосед, у которого всю ночь сверлили стену.

— Он не спал, — сказал Копейка. — Я не спал тоже. Мы спали по очереди, и в итоге никто.

— Что он слышал?

— Стук. Ночью. Из-под земли. — Копейка оглянулся на коня. — Конь на стук смотрит в землю, лопух. Люди смотрят по сторонам, а конь — под себя. Он знает, где стоит беда.

— Может, крот.

— Крот не стучит. Я знаю кротов. — Копейка помолчал. — А этот стучал и слушал. Стучит — слушает. Стучит — слушает. Как сапожник, только вниз ногами.

— И долго слушал?

— До петухов. Потом перестал — и конь успокоился. Как будто тот, кто стучал, услышал, что мы не спим, и ушёл вежливо. — Копейка погладил Бойку по шее. — Я коню не рассказал про то, что слышал сам. А я слышал. И мне было не страшно, а стыдно. Как будто подслушал чужой разговор, а выйти не могу.

— Почему стыдно?

— Потому что он стучал вежливо, — сказал Копейка просто. — А я слушал нагло.

Прохор пришёл к обеду — подковать запасную на возок. Пока я ковал, он ходил вокруг кузницы и смотрел, как ходят не покупатели, а кредиторы: с интересом, из которого не выковырять денег. А потом взял со своего возка мешочек, сунул мне под нос и вывернул.

— Вот теперь мы знаем цену вопросу. — Он улыбнулся. — На этот ответ у меня нет сдачи. Приходи, когда будет чем платить.

— Слыхал, тебе глина нужна? Синяя. Мне вчера с возов

рассыпали — я и собрал. Не верни — оставь себе.

Я, между нами, взял щепоть и растёр. Синяя, жирная, с той же влажностью, что я растирал на подводе. Возок Прохора стоял на том самом месте, где разгружали пустые воза.

— Откуда на возке? — спросил я как можно ровнее.

— Так возы же бывалые. — Прохор пожал плечами. — Пустые воза, полные следы. Я купец, лопух, я не читаю знаков, я читаю цену. А цена у этих возов мне не нравится: воз пустой, а подвязки новые. Воз, который едет порожняком с новыми подвязками, — это воз, который везёт то, что нельзя показать.

— И что ты делаешь с тем, что нельзя показать?

— То же, что и все. — Он посмотрел на меня в упор. — Продаю дешевле, чтобы не спрашивали. Глину бери. За глину денег не беру. За молчание — медяк. Ты его уже платил, плати и дальше: медяк за молчание — самый дешёвый медяк на свете.

Вечером я отнёс глину дьяку — в горсти, завёрнутой в тряпицу. Дьяк растёр её между пальцев, понюхал, посмотрел на свет и сказал одно слово:

— Плавильня.

— Чья?

— Об этом спрашивают не дьяка, а хозяина, — сказал он. — А хозяин, судя по подати, платит железом. Ступай, лопух. И помни: глина у меня, вопрос у тебя, а ответ — у стены за башней.

Дома за ужином Гуннар вдруг заговорил — не про трубу.

— Наместник когда-то забрал за колесо мальчишку, — сказал он. — Чужого, не из нашей деревни. Тот поставил колесо на чужом ручье без спроса — и справился лучше, чем я думал. Наместник забрал его вместе с колесом. Больше я про того мальчишку ничего не слышал. И это не значит, что о нём больше не говорят.

— Ты говоришь, — сказал я.

— Я молчу и слушаю. Это разные грамоты. — Он отхлебнул квасу. — Смотри, что выходит, лопух. Подать платят железом. Значит, у кого-то есть железо, которое не жалко. Лишнее железо бывает у того, кто куёт дёшево и ночью. В нашей деревне один горн. У башни стучат молотом.

— Значит, второй горн.

— Второй горн. — Он отложил кружку. — И тот, кто при нём работает, платит подать чужим железом, потому что своего не отдаёт. Так не делают бедные. Так делают те, кто прячется.

— Спишь? — спросил Гуннар из темноты.

— Нет.

— И я нет. — Он помолчал. — Стучит?

— Стучит. Ровно. Устать не может.

— Может. Просто не хочет. — Гуннар повернулся на бок, и лавка отозвалась бревном. — Вещь, которая стучит ровно всю ночь, лопух, не машина. Это человек, у которого считан каждый удар. Такие люди бывают только двух сортов: либо

они в тюрьме, либо они в кузнице. Стало быть, у него своя кузница. Запомни это на сон: у него есть то, чего нет у нас, — время.

Кусака легла у горна и положила голову на лапы — так она лежит, когда следит не за мной, а за дверью. За дверью было темно, и темно там было по-хозяйски.

Я досчитал за Гуннаром всё, что он не сказал, и лёг. У трубы есть второй горн. И стоит он там, куда я собирался с самого начала.

**Глава пятая. Ход**

Гуннар сказал мне про ход ровно один раз и так, как говорят про пост: коротко и чтобы не переспрашивали.

— Иди ночью. Один. Кусаку возьми. Оружие не бери — возьми полосу. Стучать будешь не камнем: камень кричит, полоса спрашивает.

— Ты по тому ходу ходил? — спросил я.

— Один раз. И этого хватило. — Он не поднял головы от клещей. — Что видел, не скажу. Что скажу: пол в том ходе не топтан, а вылизан. Пол вылизывают ботинками не для того, чтобы ходить. Для того, чтобы приходить.

— Чьими ботинками?

— Спроси у размера. — Он сунул мне полосу и больше не сказал ничего. У Гуннара разговор закрывается, как лавка: раз — и щеколда.

Мальфрида поймала меня уже в сенях. Она держала полбуханки и конец свечи — то есть, между нами, полный паёк

ночного путешественника по её счёту: хлеб на дорогу, свеча на страх.

— Воротишься — съешь остальное, — сказала она. — А если не воротишься, остальное съест Гуннар, и так будет честно.

— Ты всегда так провожаешь?

— Всех. Мужа в снег, тебя в темноту. — Она сунула мне хлеб и посмотрела в глаза так, как смотрят в упряжь: проверяя, нет ли трещины. — Слушай сюда, лопух. Ты пойдёшь по тому ходу, я знаю, куда ходят мальчики с полосой железа. Правило одно: если пол холодный — стоишь. Тёплый пол в ходу — это не уют. Это печь, у которой открыли дверцу.

— А если дверь откроют, пока я стою?

— Тогда беги. От двери бегут всегда. — Она отвернулась к тесту. — От двери бегут, а от людей остаются. Запомни: дверь не обманывает. Люди — сколько угодно.

Ночь стояла сухая и тёплая для поздней осени, и это было подозрительно: тёплая ночь прячет следы хуже, чем мороз. Я шёл вдоль русла, и Кусака шла впереди — на четыре шага, как всегда, когда дорога наша. Туман лежал на бахче и не шевелился, как лежалый.

Тимоха перехватил меня у околицы. Я не удивился: он появляется в тех местах, где нельзя появляться, и делает вид, что там всегда было людно.

— Ты куда? — спросил он, и я соврал сразу и некрасиво: «По надобности».

— По надобности, — повторил он. — По надобностям ходят днём. Ночью ходят по трубам. Я иду с тобой.

— Гуннар сказал — один.

— Гуннар сказал это тебе. А я слышал, как он это сказал. Значит, нас уже двое. — Он встал и отряхнулся. — Не ругайся, лопух: ночью в поле одному боязно, а вдвоём — уже посудина. Скажу отцу, что ночую у Копейки.

— Скажи правду.

— Правда — для тех, кто платит. Ладно: я не знаю, куда идёшь, и знать не хочу. Возьмёшь меня до оврага. Дальше — сам.

— И не спрашивай, откуда я знал, — сказал Тимоха, шагая рядом. — Я сын трактирщика. Я знаю, кто где не спит, как дьяк знает, кто где не молится. Кстати, молился ли ты сегодня?

— Утром.

— Хорошо. Потому что если спросят, кто ходил к башне ночью, ты скажешь: я молился, у меня свидетели. — Он посмотрел на Кусаку. — Она свидетель?

— Она свидетель, — сказал я. — Но её показания примут только с живностью.

— Тогда я твой живной. — Он вздохнул. — Странное слово. Ты его опять из своей деревни принёс?

— Из моей. У нас это почётная должность.

— У нас почётную должность зовут «дурак». — Он хмыкнул. — Но ладно, пусть будет живной. Дешевле, чем «гость».

Он, конечно, пошёл дальше оврага. Дальше оврага пошли мы оба, потому что у Тимохи есть правило: он отходит от тебя ровно на столько шагов, на сколько нужно, чтобы не мешать, но и не потерять из виду своё.

Кладка начиналась за ивой, где ручей делает крюк. Камень на камне, без раствора, шов ровный, как шов у портного, который берёт за работу дорого. Я приложил ладонь к камню — камень был тёплый. Не от дня: отводили мы глубоко, а дни в конце осени не греют на ладонь.

— Тёплая, — шепнул Тимоха.

— Дышит. — Я провёл пальцем по шву: в щелях лежала глина, синеватая, жирная. Та самая. — Кладка старая, но за ней живое. Слышишь?

— Слышу воду.

— Я слышу стук.

Кусака шла на три шага. Всю дорогу — на три, и от этой тройки у меня ныла спина, как нынет от счёта, который не сходится.

— Она чего? — шепнул Тимоха.

— На три шага идёт. Значит, впереди кто-то есть.

— И давно?

— С околицы.

Тимоха оглянулся так оглядываются люди, которые всю жизнь думают, что ходят первыми.

Вход был под берегом, за ивой. Пол в ходе был гладкий, тёплый, вылизанный — как порог трактира в ярмарку.

Я провёл ладонью: камень потёрт ровной дорожкой, шириной в ступню. Это и был тот самый пол, про который говорил Гуннар. Но поверх вылизанного лежал свежий след: узкий сапог, вчерашний, может, позавчерашний. Не лапоть. Не Гуннаров сапог — Гуннаров я знаю, он косолапит и чеканит левой сильнее. Этот след резал прямо, как ходят городские.

На середине хода у меня разболелся голод — не желудок, а голова. Голова у меня всегда голодает первой: стоит ей испугаться, как она начинает считать похлёбку. Я жевал хлеб Мальфриды и думал о том, что дома осталась половина буханки, которую я, если не вернусь, никогда не съем, а Гуннар съест и даже не заметит, что ест мою смерть. Так думают, между нами, двоечники: перед бедой — об еде.

А ещё я мерил. У меня с собой была верёвочка с узелками — та самая, восковая. Я обвёл ею свод хода, затянул узелок, и у меня в руках оказалось число: локтей шесть от пола, свод круглый, кладка без раствора, но швы снаружи и внутри сходятся один в один. Такое не кладут на глаз. Такое режут заранее — по счёту, как режут подкову по разметке.

— Ты чего меряешь? — спросил Тимоха.

— Хочу знать, когда станет тесно.

— А когда станет тесно?

— Тогда и узнаю. — Я убрал верёвочку. — Секунду до этого я знать не хочу. Это плохое знание: за него не платят, им пугают.

Кусака понюхала след, оглянулась на меня и не огрызну-

лась. Так она поступает, когда запах знает, а понять не может.

— Чей? — спросил Тимоха.

— Не знаю. — И это была чистая правда, которую я ненавидел. — Запах старый. А след свежий.

Мы шли по подводе. Стены дышали: из кладки тянуло сыростью и горном — тонко, как из-под двери. В швах лежала синяя глина, и Тимоха трогал её раньше меня и стёр пальцы о штаны раньше, чем я успел сказать, что трогать не надо.

— Такая, — сказал он тихо. — В подполе. Такая.

— Ты был в том подполе?

— Один раз. Меня послали за квасом. — Он помолчал. — Я за квасом не ходил.

— Что ты видел в подполе? — спросил я.

— Воза, — сказал Тимоха. — Воза, которые не разгружаются, как я думал, а разгружаются, как я понял. Я стоял в темноте и ждал, когда начнут выгружать, чтобы знать, что везут. Глину сгружали в подпол — мешками, без огонька, на ощупь. А наутро воза шли к башне. И след у них был тяжёлый. Не от глины: глину они оставили здесь.

— Тогда что они везут в башню?

— Вот это и есть товар, — сказал Тимоха. — Пустой воз с тяжёлой колеёй — это воз, который везёт то, что нельзя показать. Мой отец говорил: если бы можно было показать, они бы платили за показ. А платят за то, чтобы не показывали. И это дороже.

— Дороже чего?

— Дороже глины, лопух. Глина — это быт. Быт всегда дешевле тайны. Тайна стоит столько, сколько стоят те, кто её сторожит. — Он помолчал. — А сторожат её не возчики. Возчики — это руки. А у рук есть голова, и я её ещё не видел.

Ход кончился там, где кончается кладка. Дальше стояла заглушка: дубовая, в полтора локтя, в торец хода. На ней — девять отверстий. Восемь были заварены: гладко, железом по железу, без свинца. Та же рука, что на купеческой подкове, — я узнал её сразу, как узнают письмо по почерку, который уже читал.

Девятое было сверлено. Свежо. Стружка под ним лежала синеватая, и я поднял щепоть и растёр между пальцами: синяя, как у брата.

— Ноль-девять... — начал Тимоха и осёкся.

— Что?

— Ничего. Странное слово. Из твоей деревни? — У него была привычка спрашивать про мои слова так, как спрашивают про чужие монеты: на всякий случай, вдруг дорого.

— Из моей, — сказал я.

На самой заглушке была зарубка. Третья по счёту за эту неделю: первая на столбе у границы, вторая у родника, эта — здесь. Резана сверху вниз. Мельче моей и ровнее. Я приложил к ней палец: дерево ещё пахло. Резали день-два назад.

И тогда я услышал стук. Не тот, что по ночам шёл из-под земли всю осень. Этот был близкий — за заглушкой. Ров-

ный, счётный, терпеливый, как работа, у которой нет конца и нет хозяина. Не три медленно и один быстро — тот ритм я помню, как помнят собственное имя. Этот был другой.

Кусака легла. Не по-рабочему — в струнку, мордой на лапы. Так она лежит перед грозой.

— Уходим? — шепнул Тимоха.

— Стучим, — сказал я.

Я приложил полосу к заглушке и отстучал семь оборотов и один — мой вопрос, тот самый, что я задавал воде.

Глухо. Эхо ушло внутрь, как вода в песок.

Потом я приложил ладонь к дереву. Заглушка была тёплая. Не от ночи — от горна. Тёплую заглушку не делает ничто живое: её подогревает то, что за ней.

И тогда с той стороны отстучали в ответ. Семь оборотов. Один. И ещё один — короткий, в самый низ заглушки, ровно туда, где я держал ладонь на палец ниже, чем нужно.

Я стоял с рукой на тёплом дубе и считал до десяти, потому что дышать по-другому, между нами, не умел.

Она не ответила на мой вопрос. Она поправила мою руку.

И ещё одно я увидел перед тем, как уходить. Зарубка на заглушке была глубиной ровно в мою полосу. Не глубже и не мельче. Я приложил полосу — легла, как в паз, по краям, без зазора, как ложится клеймо на готовую работу. Тот, кто резал, знал, с чем я приду. Он не слышал меня. Он ждал меня.

Тот, кто правит руку в темноте, — не враг: враг правит

кулаком. Но и не друг: друг правит вслух. Это было третье. И третье страшнее и того и другого, потому что у третьего нет имени, под которое его можно позвать.

Обратно шли молча. У оврага Тимоха остановился и сказал единственное дельное слово за ночь:

— Она стучала не в ответ тебе. Она стучала в ответ тому, кто стучал до тебя. Мы пришли на чужую переписку.

Кусака всю дорогу домой шла на четыре шага. А перед самой кузницей — на пять. И это значило только одно: она считала, что я иду не туда.

Гуннар не спал. Он сидел у горна и держал на коленях клещи — не потому, что собирался работать, а потому, что клещи у него вместо чёток: держит — значит, молится.

— Пол? — спросил он, когда я вошёл.

— Тёплый.

— Заглушка?

— Тёплая. И девятое сверлено. И зарубка под мою полосу — в паз, без зазора.

Он кивнул — не как кивают на новость, а как кивают на подтверждение.

— Она поправила тебе руку, — сказал он. Это не было вопросом.

— Ты знал, что она там.

— Я знал, что там кто-то есть. Кто именно — узнал сейчас. По твоему лицу. — Он встал и потянулся, и спина согласилась не сразу. — У того, кто видит первое, лицо простое.

У того, кто видит второе, — как у тебя. Спи. Утром пойдёшь к дьяку и скажешь ему всё, что я тебе не скажу. Дьяк умеет слушать обоих.

— А ты?

— Я умею молчать про то, что сам не понял. — Он снял с крюка рукавицы. — Это тоже грамота, лопух. Только она дорого стоит и плохо читается.

Кусака легла поперёк двери — мордой к порогу, хвостом к моему чулану. Так она лежит, когда караулит не чужих, а выходы.

Я лёг и долго слушал. Стук под землёй шёл ровно — и в нём, между нами, было слышно одно, чего я не слышал раньше: счёт не заканчивался. Кто-то за башней считал дальше меня. И у этого счёта не было сегодня.

**Глава шестая. Девятое**

Дьяк принял нас в свечной комнате — там, где пахнет воском и старым деревом, и где, между нами, пахнет ещё и страхом: в этом доме хорошо умеют прятать то, о чём молятся.

— Свинец, — сказал дьяк вместо здравствуйте. — Принесли?

— Принесли. — Я положил подкову на стол.

Пелагея стояла у окна и держала в руке зажжённую свечу. Дьяк посмотрел на неё так, как смотрят на гроссбух, в котором нашлась лишняя строка.

— Отойди, дочь.

— Не отойду. — Она не двинулась с места. — Вы сами

сказали: слушайте оба.

— Я сказал «слушайте». Я не говорил «смотрите».

— Слушать то, что видно, — это не умение. — Пелагея поставила свечу на стол. — Умение — слушать то, что скрыто. Вы меня этому ещё не учили. Начнём со свинца.

Дьяк вздохнул так, как вздыхают не от обиды, а от счёта: пересчитал силы и понял, что их двое, а он один.

— Садись, — сказал он мне. — И ты, дочь, садись. Раз ты у нас теперь письмоносец.

Свинец сидел в девятом отверстии плотно, но не был заварен: его вбили. Дьяк вытолкал его деревянным штифтом — так выталкивают клин из бочки, чтобы не рвать дерево. Свинец вышел на ладонь тёплый, помятый, и в нём, на обратной стороне, отпечатался знак.

Девять штрихов. Восьмой — перечёркнут.

Дьяк побледнел так, что борода, между нами, стала на два тона темнее лица. Он достал из ящика тетрадь — ту самую, без страницы, — раскрыл её и положил рядом со свинцом. В тетради, чужой рукой, стоял тот же знак. И рядом те же слова, что я читал в оттиске: «Девятое — не отверстие».

И тут я спросил то, что должно было спросить раньше:

— Отче, а первая подкова? Та, что была осенью? У неё свинец в девятом был?

Дьяк помолчал и достал из ящика вторую подкову — старую, ту самую, что лежала у него с осени. Вытолкал свинец тем же штифтом. Положил рядом первый.

На обоих стояли девять штрихов. Но разница была, и я увидел её раньше, чем дьяк: у осеннего свинца штрихи были резаны глубже и наискось, у нового — мельче и строго сверху вниз. Как будто одно письмо писала рука усталая, а второе — рука, которая торопится и радуется.

— Не одна рука, — сказал я.

— Не одна. — Дьяк накрыл оба свинца ладонью. — Вот теперь, лопух, ты считаешь. Осенью под башней работал один. Теперь их двое. И младший пишет мелко.

— Младший?

— Рука, которая торопится, всегда моложе. — Он посмотрел на меня в упор. — Либо моложе годами, либо моложе ремеслом. Второе хуже первого: у старого ремесло — это судьба, а у молодого — азарт. Азартных я боюсь больше.

— Откуда знак в тетради, отце?

— Из такого же свинца. — Дьяк провёл пальцем по штрихам, не касаясь их. — Такую же подкову я разбирал раньше, осенью. Свинец — это письмо, которое отправляют те, кто боится отправлять бумагой.

— И что в письме?

— То, что я говорил: девятое — не отверстие. Восьмое на подкове — счёт. Девятое — не на железе.

— А где?

— В дороге. — Он накрыл свинец ладонью, как накрывают птицу. — Девятое — это проход. Дорога, которую открывают не в железе, а в счёте. Твой дед резал зарубки за дни.

Ты режешь за вылазки. Кто-то третий режет...

— За что?

— Я не знаю, за что он режет. — Дьяк поднял на меня глаза. — Знаю одно: он режет поверх твоего счёта. А счёт, который режут поверх, — не счёт. Это приглашение.

— Приглашение куда?

— По девятому. — Дьяк постучал пальцем по тетради. — Туда, куда уводит дорога, которой нет ни на одной карте, кроме тех, что писаны свинцом.

Пелагея взяла со стола мою дощечку — дедову, с зарубками, — провела по ней пальцем и посчитала вслух, как считают не деньги, а дни.

— У тебя восемь зарубок, — сказала она. — Восемь вылазок. А на столбе я видела десять. Стало быть, чьи-то две поверх твоих.

— Может, я сбился и резал дважды.

— Ты не сбиваешься. — Она посмотрела на меня без улыбки. — Ты, может, и глупый, но счёт у тебя не сбивается: я видела, как ты режешь зарубку. Ты режешь её, как дьяк пишет слово, — один раз и на всю жизнь. Нет, лопух. Десять при восьми — это значит, что у той руки время идёт быстрее твоего. Или их двое, и у каждого по своей скорости.

— Как у двух часов.

— Как у двух часов, из которых один идёт точно, а второй — вперёд. — Она поставила свечу на место. — Вопрос не в том, который из них врёт. Вопрос в том, зачем второй бегает.

Пелагея отодвинула свечу и положила обе руки на стол.

— Тогда я пойду с ним в следующий раз.

— Нельзя, — сказал дьяк ровно.

— Нельзя — это не ответ. Это тариф. — Она не отвела глаз. — Тариф платят. Я заплачу. Сколько?

Между нами, я в этот миг понял, что дьяк проиграл не в споре — в счёте. Спор можно выиграть голосом. Счёт выигрывают только деньгами, а у неё их не было, и она это знала, и всё равно села, как садятся те, у кого больше нет ставок, кроме себя.

— Нельзя, — повторил дьяк медленнее, — не потому, что нельзя. А потому, что за это «нельзя» кто-то платил раньше, чем ты родилась. И я не хочу, чтобы платить пришлось тебе.

— Пусть платят те, кто ставил запрет, — сказала Пелагея. И погасила свечу двумя пальцами — без веника, как гасят не в церкви, а дома. Между нами, это было самое громкое, что я слышал от неё за всю зиму. — Я иду. Слушайте оба.

Дьяк долго молчал. Потом достал из ящика восковой шнурок и протянул ей.

— Тогда возьми. — Он посмотрел на меня. — И ты, лопух, слушай. Плата будет такая: по субботам она приходит к заутрене и ставит свечу. Свечу покупаешь ты. Это честный тариф: кто привёл девку в беду, тот платит за свечу, а не за грех.

— Я не приводил её в беду.

— Ты её поведёшь в беду. — Дьяк отвернулся к окну. —

Это одно и то же, только с разницей в неделю.

По дороге домой Пелагея шла молча целых полдвора — а потом сказала то, что держала с самого порога:

— Ты заметил? Он не запретил мне идти. Он назначил цену.

— Он всегда так делает?

— С теми, кого боится отпустить. — Она шагала ровно, как ходят те, кто уже решил. — Знаешь, что я поняла за эти полгода? «Нельзя» в нашем доме — это не стена. Это будка у дороги. Стоит сборщик и берёт пошлину. Пошлину можно уплатить — свечой, страхом, субботой. А стена — это другое: стену обходят. Я пока не знаю, обходят ли эту. Но я буду узнавать. Мне стало уже всё равно, что думает тот, кто поставил будку.

— Тебе нельзя так говорить.

— Мне нельзя даже «почему». — Она усмехнулась. — Я говорю «почему» с осени, и мир не кончился. Возможно, он кончается медленно. Или не кончается вовсе, и тогда у отца зря болит голова.

— Он не боится за себя. Он боится за тебя.

— Это я знаю. — Она замедлилась. — И от этого не легче, а только дороже. Лопух, а стук под землёй — он ведь и для меня? Я сверлила девятое — для меня, ты говорил.

— Ты сверлила не девятое. Ты сверлила для себя — а вышло для меня.

— Так и всё в этом мире. — Она забрала у меня свечу и

пошла вперёд. — Все делают для себя, а выходит для других. И тогда, может, тот, кто режет зарубки сверху вниз, тоже делает не для нас?

Свинец дьяк спрятал в тетрадь — на место вырванной страницы, между листами. И тут я, между нами, заметил то, чего не должен был заметить: тетрадь без страницы он закрывал уверенно, как закрывают книгу, у которой страница никуда не вырвана. Она лежала там всегда. Кто-то вырвал её из тетради — а тетрадь не съёжилась, как съёживается книга без листа. Стало быть, страница была вынута раньше и нарочно.

— Отче, — сказал я. — А кто вырвал страницу?

— Тот, кому она была нужнее, чем мне. — Дьяк не обернулся. — Спрашиваешь не по адресу, лопух. Спроси у того, кто режет зарубки сверху вниз. Может, он и страницы рвёт. И пишет. И платит подать железом.

— То есть вы считаете, что это одна и та же рука?

— Я считаю, что рук мало, а работ много. — Он наконец повернулся и посмотрел на меня устало. — Иди. Возьми свечу, возьми девчонку, возьми хлеб Мальфриды. И когда ночью стукнет — не ходи к башне. Стук придёт к тебе. Он уже шёл за тобой по подводе, ты просто глухой.

Копейку я встретил уже на улице — он стоял с Бойкой у колодца, и конь вёл себя так, как вёл неделю назад: смотрел себе под ноги.

— Он опять не спал? — спросил я.

— Он спал, — сказал Копейка. — Спал и проснулся. А потом позвал меня смотреть в землю, и мы вдвоём не спали, потому что стук опять был. — Он помолчал. — Стук был другой, лопух. Раньше он был один, как молотобоец, который бьёт сам на себя. А сегодня их было двое. Я не знаю, как услыхать двух в одном стуке. А Бойка знает. Он повёл ухом два раза: раз в одну, раз в другую. Как будто двое стучат из-под одной земли и не смотрят друг на друга.

— И что это значит?

— А вот этого я не знаю. — Копейка честно пожал плечами. — Я знаю только, что конь боится не стука. Он боится, что стук остановится.

Ночью стук пришёл. Я лежал и слушал: три медленно, один быстро.

Тот самый. Эйнаров.

Кусака подняла голову — и не завыла. Она встала, пошла к двери и села перед ней, глядя на меня через плечо, как смотрит тот, кто зовёт не за игрой.

Я вышел. Стук шёл от башни — близкий, живой, тёплый, как тёплая заглушка. Три медленно, один быстро. Эйнар вернулся: после осени, после тетрадей, после подков со свинцом в нашей кузнице.

И я стоял в холодном дворе и не знал, радоваться или будить Гуннара, потому что теперь под башней стучали двое. И один из них вернулся за своей подковой — за той, что лежала у дьяка в тетради, со знаком в свинце.

Гуннар стоял в дверях кузницы — я не слышал, как он вышел.

— Слышал? — спросил он.

— Двое.

— Двое. — Он молчал, глядя на башню. — Эйнаров ритм я знаю, как знаю своё дыхание. Второго не знаю. И это плохо, лопух: старого я ждал. Старого я хоть понимаю. Молодого не ждал никто.

— Идти к столбу?

— Иди. Считай зарубки, а не считай страх. — Он повернулся к дому. — И вот что: если на столбе будет больше десяти — не трогай ничего. Приходи домой и буди меня. Зарубка, которую режут быстрее времени, — это уже не счёт. Это объявление.

А потом я вспомнил про столб. И побежал.

На столбе была десятая зарубка. Свежая. Сверху вниз. Мельче моей — и ровнее.

Я положил на неё ладонь. Края не затянулись: резали сегодня. Дерево пахло живым — так пахнет щепа, которую сняли с бревна час назад. А в земле у подножия столба был след. Узкий сапог. Вчерашний или сегодняшний — роса не размыла.

Кусака понюхала след, оглянулась и легла — мордой на лапы, в струнку, как перед грозой. Так она легла у заглушки. Я присел рядом и долго слушал землю.

Стук шёл далеко — от башни. Ровный, счётный, не Эйна-

ров. А где-то под ним, реже и старше, — три медленно, один быстро. Двое в одной земле, не глядя друг на друга, — так, как сказал Бойка своим ухом.

И я, между нами, досчитал самое страшное: десятая зарубка стоит на столбе у границы. Не у башни. Не у заглушки. У столба — там, где я режу свой счёт. Тот, кто режет поверх меня, ходил туда же, куда хожу я. И резал не из башни, не из-под земли, а стоял на моих ногах и смотрел моими глазами на эту границу.

На столбе была десятая зарубка. Свежая. Сверху вниз. Мельче моей — и ровнее.

Мой счёт режут быстрее меня. Либо у той руки больше пальцев. Либо — больше лет.

**Глава седьмая. Плата**

Дьяк, по Пелагеиной примете, завтракает молитвой, обедает проповедью, а ужинает счетами. Я пришёл к первому часу, когда молитва ещё не была съедена и в горнице пахло свечой, вчерашней кашей и почему-то корой дуба.

— Это ты, Гоша? — сказал дьяк из-за занавеси, не спрашивая. — Входи. Только ступай тихо: у меня гостит тишина, и я боюсь разбудить её раньше срока.

Пелагея сидела у окна с берестой на коленях. Она подняла глаза, кивнула: иди, всё верно, ты пришёл туда, куда тебя послали, — и вернулась к узелкам, как будто я был почтальон, который честно принёс письмо, но открыть его права не имеет.

— Наместник приходил вчера после тебя, — сказал дьяк. — Спрашивал про трубу. Я сказал: труба — слово городское, в деревнях не водится. Хартвиг был вежлив. Вежливость наместника стоит дороже его крика: за крик платят сразу, а за вежливость — потом.

— Он знает про свинец?

— Свинец не наш. Свинец — того, кто его положил. Мы его только нашли. В этом вся разница между сыщиком и свидетелем: сыщик платит репутацией, свидетель — только сном.

Он снял с полки тетрадь, открыл на странице с оттиском и положил рядом кусок свинца. Знак лёг на оттиск, как ключ в замок, о котором забыли, где стоит замок.

— Девять штрихов, восьмой перечёркнут, — сказал дьяк. — В псалтыри такой буквы нет. Значит, это не буква. Это счёт. А счёт, который не держит церковь, держит кто-то другой. Вот с этого места, мальчик, начинается служба, за которую не платят медяками.

— Кто держит? — спросил я. Между нами, я держал этот вопрос с вечера, как держат камень за пазухой: и тяжело, и выбросить жалко.

— Тот, кто ставил десять зарубок за то время, как ты ставил восемь, — сказал дьяк и закрыл тетрадь. — Иди домой. Скажи Гуннару: свеча принята, грех переписан, стук подождёт до субботы. И ещё. Когда тот, под землёй, отстучал тебе поправку — он поправил не руку. Он поправил вежливость.

С тем, кто умеет слушать, разговаривают вежливо.

Кусака ждала меня на паперти. Увидев, встала — как встаёт верный столб, у которого, между нами, один повод для тревоги: хозяин думает.

— Хорошая? — спросил я её на всякий случай.

— Она не отвечает на глупые вопросы, — сказала Пелагея из окна. — Учись.

— А что мне Гуннару сказать про десятую зарубку? — спросил я напоследок.

— Скажи: десятая — не твой счёт, — сказал дьяк. — Счёт, который ведут за твоей спиной, не для тебя. Он для того, кто ведёт. А ты веди свой. Восемь — это восемь. Девять — это дыра. Десять — это письмо, адресованное не нам.

Пелагея проводила меня до порога и, уже с порога, тихо, чтобы не слышал отец:

— Сегодня он придёт в кузницу. Я видела его пажа на рынке: покупал колчмагу для рукавиц и желтую нитку для нашива. Так ходят не в гости. Так ходят там, где будут строить.

— Откуда ты всё это знаешь?

— У священника дом на дороге. Дорога идёт мимо, а я стою в окне. Между ними я — как счёт между пальцами.

Тимоха ждал меня у крыльца трактира — как всегда: сидел, чистый, будто весь день полировал собственную бездельную важность.

— Ну? — сказал он.

— Что ну?

— Ты был у дьяка. Я не слежу, я слышу. От моего окна до церковного двора двести шагов, и на каждом шаге кто-нибудь говорит лишнее.

— Я не был у дьяка.

— Ты шёл к церкви спиной вперёд, — сказал Тимоха. — Далеко не уйдёшь. Давай так: ты скажешь, что было, а я скажу, чего не было, и разница между ними — это моё знание. Я отдал бы его бесплатно, если бы ты был у дьяка, а не у себя.

— Ты с другом торгуешься?

— С другом — нет. Я торгуюсь с тем, кто врёт другу в лицо и не мигает. Это уже не дружба. Это работа, и я в ней, скажу скромно, лучший.

— И сколько твоя работа стоит?

— Ничего. Пока. — Он встал, отряхнул штаны, которых не трогал. — Но запомни: сегодня к обеду к вам придёт наместник. Без свиты — он уже показал, что умеет. Когда приходит второй раз пешком, это уже не поход. Это привычка. А привычка, лопух, дороже подати: подать заплачишь и забудешь, а привычка живёт с тобой по соседству.

— Откуда ты это взял?

— Я сын трактирщика, а не пророк. У меня под столом сидит половина деревни. Вторая половина стоит у двери и слушает первую.

По дороге домой Копейка остановил меня у ручья. Он привёл Бойку на водопой, и Бойка не пил.

— Он не пьёт? — спросил я.

— Не пьёт, — сказал Копейка. — Вчера пил. Сегодня не пьёт.

Бойка стоял над водой и тягался с ней носом: опускал, отводил, опускал. Вода была тихая, мутная на вид, как всегда.

— А ты пробовал поить его выше по течению?

— Пробовал. Пьёт. — Копейка сдвинул брови. — Выше пьёт, ниже не пьёт. Я коню не друг, я ему слуга, но и слуга видит: конь знает больше меня. Он глотает и отводит голову, как будто у него в воде что-то застряло. Что может застрять в воде, Гоша? Рыба? Рыба не застревает.

Я смотрел на воду и думал о железе. Железо от воды синеет. Синяя глина — от железа. И если ручей ниже плотинки несёт в себе что-то, чего не несёт выше, — то кто-то эту плотинку поставил, и вода с его руки меняла вкус коню в ноздрях.

— Не пои его ниже, — сказал я. — Пои выше. И Степану скажи: всем лошадям поить выше. Пока не скажу, почему.

— Ты не скажешь, почему?

— Скажу, когда буду знать. Я умею говорить «не знаю» с этой недели. Дьяк научил, бесплатно.

— Дьяк вообще много чего знает, — сказал Копейка с уважением, на которое дьяк вряд ли рассчитывал.

К обеду Хартвиг пришёл. Опять пешком, один, без Копейкина коня и без своей ватаги. Войдя во двор, он остановился и долго смотрел на ручей — так, как смотрят на поле,

которое уже мысленно поделили.

— Гуннар, — сказал он. — У меня к вам дело, и оно без гнева. Гнев я оставляю для чужих.

Гуннар вытер руки о фартук и кивнул на лавку. Мальфрида втащила из дома табурет — наместнику не полагалось сидеть на нашей лавке, и она знала это без уговора.

— Я говорил с дьяком, — сказал Хартвиг. — Дьяк говорит: труба — слово городское. Слово я покупаю дорого, а дела у меня, слава богу, свои. У тебя на ручье, Гуннар, будет снаряд. Водяной. Колесо, если тебе угодно быть прямым.

— Угодно, — сказал Гуннар. — Колесо.

— Значит, так. За водяной снаряд на ручье — пошлина. По новой мере: полтора медяка с колеса в год, и в счёт подати железом — не считаю, потому что колесо железу не родня. И ещё одно, что дороже полутора медяков.

Гуннар ждал. Мальфрида стояла в дверях дома с половником, и половник, между нами, смотрелся у неё полновеснее наместниковой грамоты.

— Поклон, — сказал Хартвиг. — Один. При первом обороте колеса. Деньги — вниз, поклон — вверх. Первое забираю я. Второе — сеньор.

— Поклон сеньору от подмастерья — дело живое, — сказал Гуннар. — Поклон от кузницы — нет. Кузница кланяется железу, и то не каждый раз.

— Ты умнеешь, Гуннар.

— Нет. Я просто старый.

Хартвиг посмотрел на меня. Долго, внимательно — так, как смотрят на предмет, который везут на продажу.

— А мальчик — часть снаряда? — спросил он.

— Мальчик — часть кузницы, — сказал Гуннар.

— Тогда пусть кузница помнит: у ручья будет колесо, у колеса — пошлина, у пошлины — имя. Имя не сказано. Я скажу его, когда увижу, что колесо крутится. Если не крутится — имени не будет, и пошлины не будет, и разговора не будет. — Он поднялся, поклонился Гуннару вежливо и глубже, чем полагалось, и это было хуже крика. — До первого оборота.

Кусака проводила его до калитки и забрала у него с полы лапой пылинку. По тарифу. Хартвиг не заметил, а Тимоха заметил бы: у собаки пошлины берут за то, что она тебя выгнала со двора первой.

Мальфрида, пока Гуннар молчал, налила мне второго и сказала — не мне, а половнику, который стоял у неё в руке, как живой:

— Я знала, что он придёт, до того, как он пришёл. — Она повернулась ко мне. — Знаешь как, лопух? Он не пришёл за пошлиной. Пошлину шлют со свитой. Он пришёл смотреть на тебя. Наместники не ходят пешком к снарядам. Наместники ходят пешком к людям, которых не понимают, — и сначала считают их, а потом покупают. У тебя есть один минус против железа: железо не умеет бояться, а ты умеешь. Но есть и плюс: железо не умеет молчать, а ты пока — да.

— Ты считаешь меня покупной?

— Я считаю тебя небитой, — сказала она. — Это хуже. Битое железо сразу видно, где сядет. А небитое ломается внезапно. Поэтому будешь у меня сегодня с салом: не за подкову — за нервы.

Гуннар, когда я рассказал ему всё — и про Хартвига, и про свинец, — сидел долго молча. Потом взял клещи, положил, взял обратно и сказал:

— У трубы есть второй горн.

— Откуда ты знаешь?

— Откуда я знаю всё, что не спрашивают. Свинец плавили на мягком огне, на ивовом угле, у воды. Наш горн — на дубовом, и у нас воды рядом нет. Значит, есть другой горн, у другого огня и у той же воды. И в этом горне ковал не дед и не я. — Он посмотрел в горн, где ещё дышал уголь. — Дед вёл счёт дней. Чужой ведёт счёт вёсен. Ты понимаешь, какая между ними разница, Гоша? Дни — это то, как живут. Вёсны — это то, как строят.

Он замолчал, и молчание его было хуже сентенций.

— Завтра суббота, — сказал он наконец. — Пойдёшь к дьяку на науку. И возьми с собой бересту: всё, что отстучат, — записывай. А что не запишешь на бересте — запишешь себе в голове. В голове, Гоша, худшее из всех хранилищ: там враньё хранится дольше всего.

Вечером Тимоха снова нашёл меня — теперь уже честно, с куском пирога в руках, который протянул мне, как протя-

гивают взятку ребёнку.

— Ты слышал, как он сказал «поклон»? — спросил он.

— Слышал.

— Поклон — это не деньги. Поклон — это привычка. Привычку отменить труднее, чем подать: подать платят раз в год, а привычку — каждый раз, когда проходишь мимо. Он купил у тебя не медяк. Он купил у тебя шею.

— Сентенции у тебя не при деле, — сказал я.

— У меня вообще ничего нет своего, кроме чужих мыслей, — сказал Тимоха и сделал вид, что это комплимент самому себе.

— А пирог чей?

— Трактирный. Бери. Бесплатный пирог — это тоже привычка, только моя.

Мальфрида в этот вечер налила мне похлёбки густую и сказала, что густая — это не потому, что съелся жир, а потому, что съелось ожидание каравана. Гуннар сидел молча, потом заговорил — и это была его сентенция на сегодня:

— Плати деньгами всегда, а поклоном — никогда. Деньги можно выторговать, поклон — только отработать. А отработанный поклон стоит дороже, чем купленный: его уже не вернуть.

Кусака легла у моих ног, положила голову на мои сапоги и вздохнула — так вздыхают те, кто всё слышал, а сказать не может.

Ночью я вышел на крыльцо один. Стук шёл из-под земли

— ровный, терпеливый, привычный. Но сегодня в нём было новое: удары шли парами — два коротких, пауза, два длинных, пауза. Потом снова. Потом снова. Так не стучат руки, у которых болит. Так пишут.

Я слушал до третьих петухов и понял, между нами, одну вещь, от которой похолодели пятки: это уже не стук.

Это — слова.

**Глава восьмая. Слова**

Субботняя наука в этот раз была не про буквы. Дьяк вынес на стол две деревяшки — одну полую, одну с бороздками — и молоточек размером с ложку. Пелагея села справа, я слева, и это уже говорило о том, что урок будет не для одного из нас.

— Слушай, — сказал дьяк и постучал: тук-тук. Пауза. Тук. Пауза. Тук-тук-тук.

— Это стук, — сказал я.

— Это запись, — сказал дьяк. — Всё, что можно посчитать, можно записать. Всё, что записано, можно передать через стену, через землю, через воду. Ты счёта стыдишься, а счёт — это первое письмо мира, лопух. Буквы придумали потом, для тех, кто стучать не умеет.

— А почему бы не стучать словами?

Пелагея перестала двигать узелками. Дьяк посмотрел на меня так, как смотрят на дверь, которая открылась сама, хотя её не открывали.

— Потому что слов слишком много, а пауз слишком мало,

— сказал он наконец. — Словами через толщу земли не передашь: они смешаются. А числом — передашь. Число проходит через стену так же, как через бересту. — Он взял мою руку и положил её на стол. — Отстучи мне семь.

Я отстучал семь — ровно, как гвозди в ободе.

— Теперь отстучи семь и один.

— Зачем?

— Семь — это конец. Семь и один — это «жду». Это, мальчик, первое слово, которое написал твой дед, когда я спросил его, жив ли он.

Я замер. Между нами, у меня внутри всё оборвалось, как обрывается полоса, если ударить мимо наковальни.

— Ты с ним стучался?

— Я с ним молился, — сказал дьяк спокойно. — А он мне стучался. Я думал, это совесть. Это был счёт.

Пелагея придвинула свою верёвочку с узелками к дьяку, как придвигают своё к чужому, чтобы поделить.

— Значит, так, — сказала она. — Если счёт — это письмо, то у письма есть азбука. Я умею узелками. Узелок — один, двойной узел — другое, воск на пеньке — третье. Покажите мне, как это пишется ударами, и я переведу.

— Зачем тебе?

— Затем, что девкам «почему» не полагается. А читать — полагается. Это единственное «полагается», которое я у мира выпросила, и я его не отдам.

— Покажи, как пишется «вода», — сказала Пелагея.

Дьяк отстучал: два коротких, два длинных, семь ровных, один. Потом показал, как пишется «подкова», как пишется «порог», как пишется «нельзя» — и это последнее слово он отбил так часто, что по горнице стало ясно: дьяк с этим словом знаком лично и на короткой ноге.

— А «можно»? — спросил я.

— «Можно» не пишут, — сказал дьяк. — «Можно» не приходится писать. Его говорят вслух, при людях, и поэтому за него можно спрятаться. А «нельзя» пишут в темноте, где спрятаться не от кого.

— Тогда я хочу уметь писать «нельзя», — сказала Пелагея.

— Чтобы знать, как это пишется по-настоящему, когда пишет не человек, а земля.

Дьяк посмотрел на дочь поверх тетради — так долго, что я успел сосчитать до двадцати и сбиться на двадцать третьем.

— Хорошо, — сказал он. — Слушайте оба. И помните оба: то, что вы услышите сегодня, — это не наука. Это почта. А у почты есть один закон, который я скажу вам заранее: письмо, которое ты не можешь перечитать, надо хранить запечатанным. Кто вскрывает чужое письмо, тот становится его адресатом. Со всеми расходами.

Вечером он дал условие. Одно, но крепкое, как подкова на свежем гвозде:

— Вы идёте без огня. До столба — считайте шаги. От столба до заглушки — считайте обороты. У заглушки стои-

те молча, слушаете. Спрашивать имеет право только Гоша, и только один раз. Пелагея — пишет. Кусака — идёт впереди. Если Кусака сядет — вы садитесь, и всё. Сидите, пока не встанет она. Таков тариф этой ночи, и я его платил сам, когда был моложе, чем ты.

— Ты был под землёй? — спросил я.

— Когда мне было столько же лет, сколько тебе, я служил на колокольне. Ночью, на большой праздник, я услышал под собой стук. Не в стенах — в земле. Три медленно, один быстро. Я решил: это черти. Я был мальчишка и боялся, как все мальчишки. Я спустился и стал молиться вслух, громко, с холодными руками. И тогда под землёй отстучали мне: семь оборотов и один. — Он замолчал. — Я не знал тогда, что это «жду». Я узнал это тридцать лет спустя, когда наставник мой умер, а бумага его осталась. Понимаешь, Гоша, что это значит? Всё это время кто-то ждал ответа. Тридцать лет. И я этот ответ не дал. Не потому что не хотел. Потому что не умел читать.

— А теперь умеешь?

— Теперь умею, — сказал дьяк. — Но теперь, когда умею, я не уверен, что хочу услышать ответ. Вот это, мальчик, и есть настоящий грех: не невежество. Невежество простительно. А страх, когда уже умеешь, — нет.

Перед выходом Мальфрида остановила нас на пороге и сунула Пелагее узелок с лепёшками — двумя, не одной.

— Почему две? — спросила Пелагея.

— Потому что на обратном пути вы будете голоднее, чем на прямом, — сказала Мальфрида. — Прямая дорога — это когда не знаешь, чем кончится. Обратная — это когда уже знаешь, чем кончилось. На обратной дороге едят всегда. А чтобы ты не забыла, что ты у нас не только грамотная, но и сытая, — лепёшка с солью. Соль — для счёта. Я тебя по-человечески прошу: вернись с ним обратно. Соль я в счёт не возьму.

Пелагея посмотрела на узелок так, как смотрят на то, чего не покупают: на то, что дарят. И спрятала его за пазуху — между делом.

Кусака вышла со двора первой и весь путь шла, прижав уши, — не на четыре шага впереди, как всегда, а на полшага, у самой моей ноги. Она знала, куда мы идём, и, между нами, знала лучше нас: собака не читает писем, собака читает намерения.

Пелагея вела счёт шагов узелками. На шестисотом шаге она остановилась.

— Дальше я считать не буду, — сказала она шёпотом. — Дальше счёт будет не мой.

Столб стоял в тумане, как в прошлый раз, — палец, торчащий из земли. Свежие зарубки светились бледно. Пелагея коснулась их кончиком пальца и отдёрнула руку, как отгораются от крашеной скамьи.

— Он резал не резцом, — сказала она. — Он резал чем-то шире. Как долотом. Кто режет долотом в поле?

— Тот, у кого долото теплее резца, — сказал я, и сам не понял, что сказал.

Мы спустились в подводу. Кусака села у входа — не села, а легла, и положила голову на лапы, но уши держала трубой. Пелагея положила руку мне на плечо — сзади, между лопатками, как ставят печать.

— Один раз, — сказала она. — Спрашивай.

Я поднял руку и отстучал по заглушке — семь и один. Жду.

Мы ждали. Пелагея считала про себя — я видел по её губам, она шевелила узелками на запястье. Ответ пришёл через десять ударов сердца — не длинных, не страшных, аккуратных: два коротких, два длинных, пауза. Два коротких, два длинных. Потом семь ровных. Потом один.

Пелагея разложила узелки на полу — пальцы у неё дрожали, но дрожали не от страха, а от работы, как дрожат руки у того, кто держит не своё.

— Два-два — это «в-о», — сказала она. — Семь ровных — это «д». Один — точка. ВОДА. — Она посмотрела на меня. — Он ответил не на твой вопрос. Он ответил на твой путь.

— Как это?

— Ты спросил «жду». Он сказал «вода». Ты идёшь к воде, Гоша. Вода — это то, где его руки. И это то, — она подняла глаза, и в темноте я не увидел их цвета, только блеск, — где твоё колесо.

Я хотел сказать, что колесо — моё, и не сказал. Потому что, между нами, если твоя работа уже известна тому, кто сидит под землёй и пишет удары, то она больше не совсем твоя. Она — часть его письма.

Пока ждали — а между вопросом и ответом лежала такая пустота, что я слышал, как тикает кровь в ушах, — Пелагея достала лепёшки. Разломила одну пополам, половину протянула мне, половину съела сама. Руки у неё дрожали, и соль падала на пол подводы, и в темноте это было слышно, как падает снег.

— Ты ешь? — шепнул я.

— Ем, — шепнула она. — Страшно есть. Но страшнее не есть. Если я не съем, я начну думать, что мы здесь навсегда. А если съем — я начну думать, что мы здесь до конца лепёшки. Это лучше. У лепёшки есть конец.

Я съел свою половину и, между нами, впервые за ночь почувствовал, что у меня есть тело: оно болело в коленях от корточек, и пахло железом, и хотело домой. Страх уходил туда, куда уходит вода из ручья, — не сразу, а по краям.

Мы вышли. Кусака встала последней и у выхода обернулась в темноту подводы и не залаяла — а глухо заворчала, коротко, как бросают монету на стол: вот, бери, и больше не приходи.

У трактира, на обратном пути, сидел Тимоха. Сразу было видно, что он не спал: у него под глазами лежали тени, как лежат у него всегда под рукой краденые яблоки — в тени и

по счёту.

— ВОДА, — сказал он вместо здравствуйте.

Я остановился. Пелагея сжала мой рукав.

— Не смотри так, — сказал Тимоха. — Я не под землёй сидел. Я на мельнице. Мельник сегодня всю ночь молол, и жернов бился не по счёту, а по слову: два коротких, два длинных, семь ровных, один. Я это слышал через его пол. Он тоже это слышал. Он меня выгнал. А я умею уходить с полным слухом.

— Ты и это продашь?

— Это? — Тимоха засмеялся тихо. — Это я уже подарил. Даром, лопух, я отдаю только то, что не стоит денег. А слово «вода» стоит сейчас всё, что у тебя есть, и всё, чего у тебя нет. Так что беги. У тебя впереди разговор, который я бы не пожелал и мельнику.

Дома Гуннар ждал у горна. Не спал. Я видел по углю — он подсыпал его всю ночь, чтобы у горна было чем дышать.

— Ну? — сказал он.

— ВОДА, — сказал я.

Я достал бересту и показал Гуннару запись. Дьяк днём заставил меня писать услышанное своими руками — и я написал «вада», потому что рука у меня грамоте и не училась, а голова писала раньше руки.

— «Вада», — сказал Гуннар. — Хорошо. Пусть. Смысл от этого не меняется, а буква твоя. Чужой рукой писаное чужое и есть. Пелагею спросишь — она перепишет, и береста

станет честной. А пока пусть лежит с ошибкой: ошибки — это подпись. По ошибке, Гоша, автора узнают раньше, чем по имени.

Гуннар положил клещи на наковальню. Положил аккуратно, и клещи легли ровно, и это было похоже на то, как легла бы его рука, если бы руки умели лежать.

— По какому счёту он отстучал? — спросил Гуннар.

— Семь оборотов и один. — Я сказал и сам себя услышал. И между нами всё сошлось, как сходятся узелки на верёвочке, которую трогали двое.

Гуннар, пока я не отошёл от его слов, достал из ящика дедову дощечку — ту самую, с одним столбиком зарубок, — и положил рядом со своей, на которой я веду счёт вылазок.

— Смотри. Дед резал по дню. Я режу по вылазке. Тот, под землёй, — по письму. Три счёта, три руки, один мир. — Он провёл пальцем по дедовым зарубкам. — Дед ковал гвозди, которые держат. Этот куёт слова, которые держат быстрее. Когда рука начинает отвечать быстрее, чем спрашивают, — это уже не рука. Это память, у которой остались долги.

— Семь оборотов, — повторил Гуннар. — Не новый счёт. Не дьяков. Не твой.

Он встал, отряхнул фартук и сказал — тихо, себе, не мне, но я услышал:

— Он отвечает счётом деда. Тот, кто отвечает твоим прошлым, Гоша, не спрашивает, готов ли ты к будущему. Он просто кладёт его тебе в руки, как кладут мост через реку:

ты либо идёшь, либо стоишь, а мост всё равно стоит.

**Глава девятая. Жёлоб**

В воскресенье Гуннар сказал после завтрака две вещи. Первая: «Сегодня ничего не куём». Вторая: «Сегодня идём вдоль ручья. Возьми узелковую мерку и бересту. И не спрашивай зачем — спросишь на месте, если будет где спросить».

Кусака шла впереди и нюхала землю с усердием таможенника, который ищет то, что не объявлено. У плотинки — той самой, ниже которой Бойка не пил, — она села и посмотрела вверх по течению. Село — это по-кускиному знак: «здесь дальше я не понимаю, а дальше — идите сами».

Мы пошли вверх. И через двести шагов увидели то, чего я не ждал, хотя должен был ждать.

Ручей на повороте был перегорожен. Не плотиной — перегородкой: камень на камне, без раствора, без глины, сухой кладкой, как складывают печь до обжига. Вода уходила из русла в сторону — в жёлоб. Жёлоб был дубовый, длинный, широкий, и шёл от ручья в поле, где теперь стояли бурьяны и крапива по грудь.

— Жёлоб, — сказал я.

— Жёлоб, — сказал Гуннар.

— Для чего жёлоб?

— Для того, для чего всё в этом мире, Гоша. Для воды. — Он спустился к кладке и постучал по камню. Постучал, как стучат по стене дома: проверить, держит ли. — Камни тёп-

лые. Под солнцем — все тёплые. Под водой — тоже тёплые. Эту кладку строили не для украшения и не в мороз. Строили по сезону.

В конце жёлоба, в иле, торчало что-то серое. Я полез — и вытащил ось. Дубовая ось, выточенная по кругу, ровная, как ствол, от которого сняли кору не топором, а смыслом. На оси стояли гнёзда — по счёту, восемь.

Гуннар присел на корточки у оси и провёл пальцем по гнёздам.

— Смотри, как посажено. Гнездо не под гвоздь — под шпонку. Шпонку вбивают и расклинивают, а через год дерево высыхает, и гнездо дышит. Кто режет под шпонку, тот знает, что дерево работает. — Он поднял ось, повернул её к свету и посмотрел вдоль. — И смотри: ось не круглая. Она круглая, но не круглая. У неё малый прогиб к середине — вот такой. — Он показал пальцами, меньше пяди. — Дед бы выточил идеально. Мельники точат на глаз и потом чинят через год. А тут ось стоит с запасом: прогиб в неё заложен заранее, как в сани — полозья. Тот, кто это точил, знал не только дерево. Он знал, что дерево будет делать через год.

— А ты знаешь таких?

— Я знаю одного, кто так куёт, — сказал Гуннар. И больше не сказал ни слова.

— Спицы, — сказал Гуннар тихо. — Спицы по счёту, восемь гнёзд. Коловорот, у которого было колесо.

— Где колесо?

— В иле. Всё, что не подняли, лежит в иле до поры.

Мы вытащили из ила одну спицу — прямую, плотную, с гнездом под шпонку. Пелагея, которая пришла с нами вопреки всем «нельзя» и вопреки самой себе, обвела спицу берестяной меркой и сказала:

— Спица из одного дерева с осью. Кто-то резал их из одного ствола — как резали бы гвозди из одной полосы. Это не мельничное дело. Мельники берут что попало и сбивают что попало. А это — работа, у которой был один хозяин.

— Где лопасти? — спросил я.

— Сняты, — сказал Гуннар. — Колесо не сгнило — колесо разобрали. Ось осталась, спицы остались, лопасти ушли. Так разбирают не бандиты. Так разбирают те, кто уходит и хочет, чтобы вернулись к готовому.

Я сидел в иле по колено и думал о дедовых зарубках. О счёте дней. О том, что в этом мире кто-то строил колесо — и разбирал его, как разбирают одежду, чтобы надеть потом.

— Гуннар, — сказал я. — Это работа той же руки?

Гуннар не ответил сразу. Он снял с головы шапку, вытер лоб рукавом и надел обратно — и это было хуже всякого ответа.

— Ось из дуба, — сказал он наконец. — Спицы по счёту. Гнёзда под шпонку, а не под гвоздь. И след от резца — тонкий, как письмо. Я тебе не скажу, что это та же рука. Я скажу, что это рука, которая читала так же, как та, что писала нам ночью. А читают в этом мире одинаково все. Пишут —

по-разному.

Пелагея, пока мы возились с осью, ходила вдоль жёлоба с узелковой меркой. Она мерила не длину — наклон. Каждые десять шагов обвязывала меркой край жёлоба и вешала новый узелок, и узелки у неё ложились не в ряд, а по склону.

— Вода бежит с падением, — сказала она, вернувшись. — Узелки падают, как лестница. Ровно. Кто делал жёлоб, брал наклон не на глаз и не с горки, а по счёту: сколько воды войдёт, столько выйдет, и ни капли мимо. — Она посмотрела на бурьяны, сквозь которые шёл дуб, и добавила тихо: — Здесь не строили тридцать лет, а наклон держит до сих пор. Так держит только то, что построено с запасом. Мой отец строит с запасом одно. Церковный счёт грехов. Он говорит: грехов больше не станет, а счёт пусть стоит на всю жизнь. Я думаю, тот, кто делал жёлоб, думал так же. Только про воду.

По дороге назад нас встретил Тимоха. Он не шёл — он стоял на мосту через Луньку, опершись на перила, как опершись на чужую тайну.

— Нашли ось, — сказал он. Это не был вопрос.

— Откуда ты знаешь?

— Мельник ниже по ручью, старый Мельхер, зовёт меня «трактирным ухом». Я ему «трактирное ухо», он мне — половину слова за слово. Так вот: Мельхер говорит, что жёлоб — не дедов. Жёлоб старше деда. И что у мельницы на воду есть право, которое записано у старшины: отвод. Отвод держится на том, что выше по течению чужого снаряда нет. А

теперь, Гоша, будет. И как только колесо закрутится, мельник пойдёт к старшине и скажет: у меня отвод, у них самоволие.

— И что будет?

— А то, что всегда бывает, когда пересекаются право и работа, — сказал Тимоха. — Право побеждает по документам. Работа побеждает по гневу. А побеждает обычно тот, кто и то, и другое держит в одной руке. И наместник уже держит.

У плотинки Копейка ждал нас с Бойкой. Бойка теперь не пил и выше кладки.

— Он разучился, — сказал Копейка скорбно. — Вчера пил выше. Сегодня не пьёт совсем. Из ведра пьёт, из ручья нет. Он что, Гоша: он считает, что ручей чужой?

— Он считает, что ручей другой. Конь не умеет «чужой». Конь умеет «не тот».

— А чем «не тот» отличается от «чужой»?

— Тем, что с «чужим» можно договориться, а «не тот» просто есть. Как погода.

Копейка подумал — мысль прошла по его лицу, как воз по грязи: медленно, с усилием и на всю ширину.

— Значит, ручей теперь погода? — сказал он. — Хорошо. Я погоду уважаю. Погоду нельзя победить, с погодой можно только договориться насчёт сена.

— Тимоха, — сказал я. — А что в отводе записано? Слово в слово.

— Что записано, то и записано. Отвод на воду, — сказал

Тимоха.

— На воду или на снаряд? Это разные вещи. Если в записи сказано «вода» — то с водой у мельника всё, и мы с ней больше не шутим. А если там написано «мелющий снаряд» — то колесо, которое не мелет, снарядом не считается.

Тимоха молчал. Он умел молчать так, что это выглядело как труд.

— Ты либо умнее меня, лопух, либо ленивее, — сказал он наконец. — Я триста раз ходил к Ждану за всякой всячиной и ни разу не попросил показать запись целиком. Все читают то, что им выгодно. А ты хочешь читать то, что есть. Это редкое качество. Обычно оно встречается у дураков и у святых. Я, слава богу, ни тот ни другой, поэтому читаю по строке.

— Покажи запись.

— Покажу. За это не плачу, за это я беру другое. — Он посмотрел на меня в упор. — Когда колесо закрутится и мельник пойдёт ругаться, ты возьмёшь меня с собой. Я хочу посмотреть, как дьяк читает вслух то, чего боятся взрослые. Это дороже всякой записи.

— Согласен.

— Не спеши соглашаться. Ты ещё не знаешь, как выглядит взрослый, которому читают его же бумагу. Это зрелище не для слабого сердца. Я видел раз — как раз тогда, когда плату за мост подняли. Мельник потом неделю пил один и говорил с половником.

— С половником?

— С половником. Половник, по-моему, отвечал лучше, чем Ждан.

Кусака в этот момент вышла из ила с лопастью в зубах. Лопасть была деревянная, широкая, с оковкой по ребру — и на оковке, у самого края, стояло отверстие. Девятое. Заваренное железом по железу — гладко, чисто, как заваривают те, кто не боится, что снимут.

Пелагея взяла лопасть из собачьей пасти — осторожно, как берут чужое письмо, — и приложила к оковке свой палец.

— Свежее, — сказала она. — Не в иле лежало. В иле железо чернеет. Это железо светлое. Его заварили недавно — и потом утопили, чтобы не нашли.

— Кто заваривает и топит в одном деле? — спросил я.

— Тот, кто пишет и стирает, — сказала Пелагея. — Как в дьяковой тетради. Страницу вырывают раньше, чем пишет дальше.

Гуннар стоял над лопастью и смотрел так, как смотрят на полосу, которую перековали втрое: узнать бы, кто бил.

— Одно из двух, — сказал он наконец. — Или тот, кто строил колесо, вернулся и заварил девятое на память. Или тот, кто его разобрал, заварил девятое на угрозу. И то и другое — работа одной руки. А что это за рука — я тебе не скажу, Гоша. Не потому что не знаю. Потому что знаю больше, чем говорю, и это, поверь, тяжелее незнания.

Он поднял лопасть на плечо — как носят не дрова, а аре-

станта, — и мы пошли домой. Солнце стояло уже на закате, и вода в ручье ниже кладки шла ровно, без всплесков, как идёт вода, которой объяснили, что от неё хотят.

Дома лопасть легла на верстак — на ту третью полку, где лежит то, что учит. Кусака села рядом и не уходила. Она не охраняла — она смотрела. У собак, между нами, есть работа, о которой не пишут в договоре: сидеть рядом с чужой вещью, пока хозяин не решит, чья она.

Мальфрида подошла, посмотрела на оковку с заваренным девятым и сказала одну фразу — про еду, как всегда, когда говорит о главном:

— Это как пересол. — Она сняла пробу с половника. — Кто пересолил — тот спешил. Кто спешил — тот боялся. А кто боится за железо, тот уже понял, что его могут найти.

Вечером дьяк пришёл к нам сам — без свечи и без пажа, и это было хуже, чем с ними. Он взял оковку от лопасти, повертел её в руках и сказал:

— Железо — второй язык этого мира. Первый — счёт. Второй — следы на железе. Ты умеешь читать первый, потому что твой дед говорил на нём, как на родном. Второй тебе придётся учить с нуля. И учи его там, где следы оставляют: не спрашивай «кто это сделал» — спрашивай «как он это сделал». «Кто» узнают сыщики. А «как» узнают мастера. И потом мастера делают сами.

— А если очередь, — спросила Пелагея, — то кто в ней стоит за нами?

— Не спрашивай у письма, кто писал, — сказал дьяк. — Спрашивай у почерка, куда оно идёт. Почерк — это адрес. А адрес, Пелагея, ты сама умеешь читать лучше всех в этом доме.

Ночью стук не пришёл. Ни парами, ни одиночными. Я лежал и слушал тишину, и тишина эта была не пустая — она была заполненная, как заполнена комната, из которой только что вышли люди.

И я понял, между нами, последнюю вещь этого дня — ту, что холоднее зарубки на столбе.

Кто-то уже платил за это колесо. Полностью. Спицами, осью и, между нами, руками. И у него вышло так, как выходит у всех нас: он разобрал своё и ушёл. А нам осталось — начать то же самое с того же места.

И узнал я ещё одно: наместник обещал прийти с именем после первого оборота. Значит, теперь мне нужно было сделать не колесо. Мне нужно было сделать первый оборот — и не назвать при этом ни имени, ни цены.

Задача, между нами, выходила за пределы железа.

Впервые за всю мою кузнецкую жизнь я собирался строить то, за что придётся платить не железом и не медяком. А поклоном.

И поклон этот, я чувствовал, будет стоить дороже всего, что мы с Гуннаром выторговали за девять книг нашего счёта.

**Глава десятая. Ось**

Гуннар выдал мне на ось лучшее железо из возка, и я сна-

чала не поверил, что оно лучшее.

— Вчерашняя полоса лежала ровнее, — сказал я.

— Полоса идёт в обод, — сказал Гуннар. — Обод гнётся. Обод прощает. Ось не прощает ничего: у оси одна работа — стоять прямо, пока всё вокруг крутится. За такую работу платят лучшим. Это не щедрость, это расчёт.

Мы ставили колесо ниже плотинки, там, где жёлоб делал последний поворот. Место выбрал не я — место выбрала вода. Три дня я ходил вдоль русла с узелками и мерил падение: от родника до плотинки вода спускалась на высоту колена, от плотинки до поворота — ещё на полколена. Пелагея писала числа на бересте: узелки на воде врут, а береста нет — обвёл, затянул узел, и она лежит, как лежит.

— Зачем тебе падение? — спросил Копейка. Он таскал брёвна на опору и уже вспотел, хотя утро было холодное. — Вода же течёт. Она сама знает, куда падать.

— Она знает. А я должен знать раньше неё, — сказал я. — Колесо стоит не там, где вода есть. Оно стоит там, где вода падает. Есть — это запас. Падает — это работа.

Копейка задумался так, что чуть не уронил бревно на ногу. Потом кивнул:

— Как я. Я ем — это запас. Таскаю — это работа.

— Ты гений, Копейка, — сказал я. — Только не говори этого дьяку: у гениев в причте своя очередь, и она не двигается.

Опору рубили три дня. Три бревна, врытые по плечо, меж-

ду ними каменная забутовка и хворост: ручей в половодье поднимается и грызёт всё, что стоит на его берегу без разрешения. Гуннар в опору камень клал сам и на каждый камень дул, как дуют на горячее. Я спросил зачем. Он сказал: «Чтобы камень знал, что его положили». Я так и не понял, шутил он или строил, но камни в опоре после этого не двигались, и я перестал спрашивать.

Пелагея подошла с берестой и положила рядом два столбика узелков.

— Семь и одиннадцать, — сказала она. — На дедовой дощечке было семь. Это не совпадение.

— Чья мерка?

— Это не мой вопрос, — сказала она. — Это твой, но он ещё не вырос. Приходи, когда вырастет, — покажу, где его искать.

Я положил бересту за пазуху. Береста была тёплая от её рук, и я, между нами, опять поймал себя на том, что умные слова у меня кончаются на середине встречи.

Гуннар принёс ось и положил на козлы. Железо было воловье, четырёхгранное, с чистой гранью: он бил редко и по счёту, и грань легла без горбов. Я взял ось в руки — она весила меньше, чем я думал, и держала нагрузку вдоль, а не поперёк, как держит ножны нож.

— Теперь слушай, — сказал Гуннар. — Ось состоит из трёх вещей. Шейка ходит во втулке. Тело держит спицы. Заплечики не дают гулять вдоль. Втулку точим из старого дуба

— жерновую ступку распустил. Дуб должен быть сухой: свежий на воде разбухнет и схватит ось так, что колесо остановится в полдень.

— А почему бы не сделать втулку железной? — спросил я. — Железо по железу крутится лучше...

— Железо по железу — это драка, — сказал он. — Два железа грызут друг друга до пыли, и оба платят. Железо по дереву — это брак, в котором оба целы. Сало между ними — судья.

— В моём мире это есть, — сказал я. — Круглая штука, которую надевают на ось, и она крутится, а не грызёт.

— Называется?

Я назвал. Названия он не записал — он вообще ничего не записывал, а через неделю выдавал моё слово обратно, как выдают сдачу.

— Пусть твоя штука будет суждением, а моя — втулкой, — сказал он. — Суждение не точат. Втулку точат.

Он сказал это без иронии, и потому иронии во мне прибавилось: если втулка выйдет плохой, винить буду я. «Почему бы не так» — это вопрос с ценой, и цену выставляют до, а не после.

Ночью мы с Копейкой ходили к опоре проверять забутовку. Вода ночью шумит иначе, чем днём: днём она падает, а ночью разговаривает. Копейка стоял у опоры и слушал, сложив руки на животе, как стоят над колыбелью.

— Она о нас говорит, — сказал он. — Она говорит, что

мы в её берег вбились.

— «Говорит о нас», Копейка, а не «говорит». Учись своему языку получше своего коня.

— У моего коня язык хороший. Он им говорит одно: ешь. Просто произносит это всё время.

На обратном пути Копейка нёс фонарь и нёс его так, что половина света доставалась мне, а половина — пути. Он всегда так: делит свет пополам, даже когда его мало.

— Ты чего не спишь-то полночи? — спросил я.

— Я снаю мало, — сказал он. — Спать много — это как есть много: потом тяжело работать. А я не люблю тяжело работать. Я люблю работать легко, поэтому сплю мало.

Логика была кривая, но железная: на такой логике у Копейки держался весь его добрый вес.

Ступку Гуннар распускал сам, а точить дал мне. Резец шёл по дубу и снимал стружку лентой — сухой, светлой, звонкой.

— Стружка лентой — значит, всё правильно, — говорил он. — Пыль — значит, резец туп или рука врёт. Сучок — обходи, не руби наперекосяк: сучок в втулке — это узел в верёвке, он прощения не просит, он просто держит.

Я точил, и втулка выходила из-под резца ровной. Потом Гуннар вытопил бараньего сала, замешал его с воском и втер в дерево.

— Сало держит воду, воск держит сало, — сказал он. — Вода не берёт то, что смазано против воды. На этом стоит вся лодка, весь обоз и половина мира, хотя об этом никто не

пишет.

Первый день ушёл на шейки. Я сгонял их на глаз, три раза, и три раза Гуннар заставил мерить узелком и править. На четвёртый шейка вошла в пробную втулку плотно, с салом, и провернулась под ладонью на пол-оборота.

— Запомни этот час, — сказал он. — Ты сейчас ковал метку. Дальше будешь ковать железо.

Второй день я заплатил за своё «почему бы не так». Я решил закалить концы оси — для крепости, как я тогда понимал крепость. Гуннар на вопрос молчал. Молчание у него — не запрет и не разрешение, а запись: сделай и посчитай. Я нагрел кончик, бросил в воду, вынул, поставил в втулку и повернул. На третьем обороте по краю шейки легла трещина — тонкая, как волос. Я нашёл её ногтем раньше, чем услышал звук.

— Вот и вся крепость, — сказал Гуннар. Он не злорадствовал, и от этого было хуже. — Закалённое железо не гнётся. Тому, кто не гнётся, нечем прощать. Шейка должна быть мягкой и тереть. Тело должно быть жёстким и держать. Ты хотел, чтобы ось была крепкой от конца до конца. Ось — не полоса. Ось — это три характера на одном железе.

Испорченный конец я срезал. Ось стала на ладонь короче, и я двое суток проковывал новую шейку. Полоса — из моей платы: Гуннар счёт не тронул, но и не простил. Долг висел на бересте у горна, где его видят все.

Кусака сидела у козлов и смотрела, как я проковы-

ваю шейку. Потом подошла, понюхала треснувший конец и фыркнула — коротко, как фыркает на горелую лепёшку.

— Она говорит, что это несъедобно, — перевёл Копейка.

— Она говорит, что я дурак, — сказал я.

— Она не умеет говорить «дурак», — сказал Копейка. — У неё от несъедобного жизнь короче. Это её самое страшное слово.

На пятый день мы испытали ось на малом круге. Копейка встал к рычагу — бревну с каменным грузом — и завертел. Ось пошла в втулках ровно, сало брало на себя то, что не брало железо. Я слушал звук: врать звук не умеет. Скрип — это песок. Вой — это сухое железо. Тишина с ровным гулом — это счёт, который сходится.

— Стой, — сказал Гуннар. — Ось гуляет вдоль. На палец в смену. Завтра выест втулку и уйдёт в опору.

— Чем держать?

— Заплечиками. Кольцо на оси, упор в опору. У чужого колеса гнёзд под шпонку было восемь, а заплечики сняли — их уносит первым. Что это говорит?

— Что тот, кто делал, знал, где оно ломается. И убрал улику.

— Или то, что ось работала до тех пор, пока её не разобрали, — сказал Гуннар. — Разобранное — тоже счёт, лопух. Только с другой стороны: не от начала, а от конца.

Заплечики я отковал в тот же вечер — кольца, широкие, с упором. На пробе ось качнулась на четверть пальца и встала.

Я обрадовался громко, как радуются двоечники. Гуннар обрадовался по-своему: молча снял с крюка сковороду и сказал Мальфриде, что сегодня ужин с салом. Сало по праздникам. Праздник объявил не я и не вода. Праздник объявила ось.

За ужином дьяк зашёл по надобности — у него всегда есть надобность, когда в доме пахнет салом. Он посмотрел на ось, на втулку, на козлы и сказал тихо:

— Дуб под сапогом, — сказал он. — Значит, сапоги всё-таки дойдут до дуба.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Из-под земли, — сказал дьяк и перестал есть. Досидел ужин молча, как досиживают карание, и ушёл в ночь по своим надобностям.

— Ось — это обещание, которое держит всё остальное, — сказал Гуннар за ужином, и Мальфрида поставила перед ним вторую кружку, как ставят перед человеком, который сказал правду.

Утром я перечитал ось ещё раз — по счёту: шейка, тело, заплечики. Каждый раз, когда беру железо, я проговариваю эти три слова, как проговаривают урок перед классом, в котором ты двоечник. Проговариваю — и вдруг понимаю, зачем дед сказал «счёт, которого не ведут, умирает»: железо без счёта умирает тихо, и никто не приходит на похороны. Ось, которую я испортил закалкой, умирала бы до сих пор, если б её не спасли мои же два дня.

К вечеру пришёл Тимоха. Он не здоровался — он сооб-

щал: здороваться он мог потом, когда поймёт, есть ли у новости цена.

— Ждан сказал, — сказал он. — Я спросил у отца, а отец спросил у Ждана, когда тот был в трактире по надобности. В записи стоит «мелющий снаряд». Не «вода».

— Значит, у мельника отвод на снаряд, — сказал я. — А вода — это...

— Вода — ничья, — сказал Тимоха. — Как дорога. Как ветер. Только слушай дальше. Если у мельника отвод на снаряд, то моё колесо — это снаряд, и оно у меня уже отобрано в записи. А если я докажу, что колесо — это вода, то и его жёлоб — вода. И его плотинка — вода. И его мельница тоже чуть-чуть вода.

— Записи не перекладывают, — сказал я.

— Записи не читают, — сказал Тимоха. — Их перекладывают. Ждан стар, подати у него пойдут сыну. Сын милостив, говорят. За милость платят прижизненно.

— И сколько она стоит?

— Смотря кому и как. Я счётчик, не торгаш: я говорю, где цена, а не продаю.

Он ушёл по своей привычке — раньше, чем я успел решить, друг он мне сказал или продал. С другом за деньги он не торгуется. Это значит: торговаться он будет с теми, кто не друг. Это значит: у Жданова сына время куплено ещё до того, как оно началось.

А я сидел у ручья и смотрел, как вода падает с плотинки

— ровно, без жадности, как будто ей всё равно, стоит колесо или нет. А ей не было всё равно: вода падала в жёлоб, жёлоб был чужой, и моё падение, которое я мерил узелками, падало по чужому счёту.

Ночью стук пришёл снова. Не «жду». Не «вода». Он отстучал числа: семь, потом одиннадцать, потом семь. Семь — ступени от родника до плотинки. Одиннадцать — шаги от плотинки до поворота. Он считал мою мерку. Он стоял так близко, что слышал, как я тягал узелки.

Я пришёл к Гуннару в кузницу и сказал всё как было.

— Он слушал, — сказал я.

— Он всегда слушает, — сказал Гуннар. — Слушают все, кто строит. Плохой слушает, чтобы повторить украдкой. Хороший слушает, чтобы прийти и посмотреть, как ты ошибёшься. И не поправить.

— Почему не поправить?

— Потому что поправка стоит дороже ошибки. Ошибку ты заплатишь железом. Поправку — именем.

Кусака в ту ночь не спала у входа — она легла у опоры, положив морду на бревно козлов. Я догадался, что она слушает ось: ось была единственное, что пело в нашей кузнице ровно, а ровный звук у собаки значит «дом».

Крючок главы: утром я снял мерку узелком — и в сумке нашлась вторая верёвочка, с уже завязанными узелками на семь и на одиннадцать. Я эту верёвочку не вязал. Она появилась за ночь. Чужая рука резала мою мерку точнее меня.

**Глава одиннадцатая. Лопасти**

Колесо собрали за пять дней, и все пять дней я учился одному: колесо — это не круг. Круг в моей голове был из моего мира — ровный, как монета. А колесо здесь — это восемь лопастей, два пояса обода, спицы в гнёздах с клиньями и ось, которая держит всё это, пока всё это старается её убить.

Обод шёл из двух поясов, верхнего и нижнего, стянутых на спицах. Пояса я гнул по черте на земле: втыкал кол, привязывал верёвку с узелком на половину диаметра, чертил, гнул полосы по черте и правил по узелку. Гуннар рядом не помогал.

— Почему не помогаешь? — спросил я на третий день, когда спина сказала своё.

— Колесо, которое собрал я, — моё, — сказал он. — Колесо, которое собрал ты, — наше. Тебе завтра некому ковать вместо меня, а мне — вместо тебя.

— Понял. Ты учишь меня платить наперёд.

— Это единственная плата, которую нельзя оспорить, — сказал Гуннар. — Всё остальное можно пересчитать.

Спицы шли в гнёзда ступицы на клиньях — дубовых, смоченных в воде. Вода разбухает, клин жмёт, гнездо держит. Дерево сохнет — клин подбивают. Подбивать надо лёгким молотком, по счёту, и слушать.

— Сколько ударов? — спросил я.

— Пока клин не скажет «хватит».

— Как он это скажет?

— Звук поднимется на пол-тоны. Услышал — остановился. Не услышал — расщепил гнездо и переделал колесо.

Я подбивал клинья дважды и оба раза услышал. Гуннар кивнул, как кивают на то, что и так известно, — и этот кивок был лучший из всех криков радости, какие он умел.

Вечером четвёртого дня Мальфрида притащила на плотинку паёк — котёл с похлёбкой и две ложки. Мы с Копейкой ели у опоры, а колесо стояло над жёлобом и ждало, как ждёт неучи перед экзаменом.

— Кушайте, — сказала Мальфрида. — Завтра вы оба падаете в воду или в славу. В обоих случаях голодный живот хуже.

— А если в воду? — спросил Копейка.

— В воду — с похлёбкой. В славу — с сальцем. Сальце я оставила на случай славы.

Кусака обошла колесо кругом и понюхала обод — снизу вверх, досками, как понюхала бы чужую собаку. Потом села перед колесом и посмотрела на него так, как смотрит на дверь, за которой кто-то есть. Между нами, я один раз видел, как она так смотрит на крыльцо дьяка, когда за дверью больше людей, чем говорит голос.

— Она что, тоже считает? — спросил Копейка.

— Она слушает, — сказал я. — А слушает она раньше, чем считаю я.

Лопасти были восемь. Доски я выпросил у Прохора из запаса на возки, в счёт караванной платы: лес в деревне не до-

стаётся просто так — каждый ствол помнит, кто его спилил, и счёт предъявляет тому, кто моложе. Прохор доски дал, но посмотрел на меня так, будто отдал не доски, а расписку.

— Воду поднимешь? — спросил он.

— Поднять я и вёдрами могу, — сказал я.

— Вёдрами поднимает человек, — сказал Прохор. — Колесо поднимает счёт. Я приду посмотреть на счёт.

— Приходи в четверг, — сказал я. — Четверг — это счёт с салом.

— Тогда приду натощак.

Лопасть я понимал так: доска, которая встречает воду стеной и отталкивает. Гуннар понимал иначе.

— Вода не толкает, — сказал он. — Вода наливается. Лопасть — не стена. Лопасть — ковш. Ставь её вогнутостью навстречу падению и с наклоном — вода сама ляжет внутрь, как ложится в ладонь, и уедет с колесом. Стеной вода бьётся и уходит вниз без толку.

— А почему тогда мельники ставят стеной?

— Потому что у них падение больше и вода жирная. У нас падение — в колено. На колене стена — это плевок в ручей.

К вечеру пришёл Тимоха и сел на опору, как садятся в чужой дом на не своё место — с тем видом, будто это место ему завещали.

— Завтра, значит, счёт, — сказал он.

— Завтра вода, — сказал я.

— Вода — это способ. Счёт — это то, что остаётся, — ска-

зал он. — Слушай, лопух. Я буду стоять за ивой. Мне нельзя на пуске: если я приду и что-то пойдёт не так, деревня скажет — сын трактирщика принёс беду. А если всё пойдёт так, деревня скажет — сын трактирщика присвоил. Мне выгоднее стоять за ивой и знать раньше всех.

— А мне?

— А тебе, — сказал Тимоха, — выгоднее стоять на виду и падать на виду. Падение на виду стоит дороже, чем падение за ивой. Упадёшь — поднимешься с ценой.

— Ты про цену говоришь, как про медяк, — сказал я.

— Я про цену говорю, потому что цену не придумывают, — сказал он. — Её считают. Считают сальце Мальфриды, считают втулку Гуннара, считают и лопасть, которая ставится на глаз. Я знаю, как ставятся лопасти у города... в городе. Там лопасть ставят по шаблону из жести. Здесь шаблона нет — значит, шаблоном будешь ты. И рукой.

— Откуда ты про город?

— Из трактира, — сказал Тимоха. — Там под столом лежит половина мира, а вторая половина над столом, и она болтает.

Он ушёл за иву раньше, чем пришёл пусковой день, — так он умел: уходить из разговора, не выключаясь из него.

Я кивал. А руки мои уже решали своё: восемь лопастей я ставил на глаз, держа наклон в голове картинкой. А картинка, как всегда, не платила за себя.

Ночь перед пуском была длинная, и Гуннар не спал — я

видел по свету: в кузнице горел огонь и тени ходили по стенам. Я вышел, и он сидел у горна и держал на ладони ось — маленькую, узкую, не ту, что в опорах, а пробную, коротышку.

— Это ось для веретена, — сказал он. — Мелкая. На неё я учился, когда мне было меньше, чем тебе. Отец отдал её мне в ночь перед моим первым пуском. Я всю ночь держал её и не спал.

— И что было на пуске?

— Всё сломалось, — сказал Гуннар. — Втулка, ось, колёсо. Пять дней работы в воду. Я сидел в воде до пояса и вылавливал доски. Отец стоял на берегу и не помогал. Он сказал: «Соберёшь снова». Я собрал. С тех пор я не сплю в ночь перед пуском. Не из страха. Из уважения к воде: она завтра будет работать со мной, и надо её встретить чистым.

— А если опять сломается?

— Значит, опять соберём, — сказал он. — Железо не боится воды. Боится человек. А железо, которое не боится, — делает человек, который тоже перестал.

Я вернулся в горницу и не спал тоже. Не из уважения к воде — из страха перед собственной рукой, которая уже один раз бросилась ловить лопасть и не спросила разрешения.

На пятый день был пуск. Колесо надели на ось, ось — в опоры, втулки набили салом. Копейка крутанул рычаг — колесо пошло на холостую: обод над жёлобом звенел низко, как звенит выварка. Звук был правильный. Это было последнее

правильное, что случилось в тот день.

Мы подняли щит плотинки. Поток пошёл по жёлобу, набрал ход и упал на колесо.

Колесо дёрнулось, пошло, сделало пол-оборота — и начало глохнуть. Вода проходила вдоль лопастей, как проходит вдоль забора, и уходила вниз, не дав толку.

— Стена, — сказал Гуннар. — Я же сказал: стена. Вода проходит вдоль стены и падает мимо. Ты поставил забор посреди ручья и назвал его колесом.

Переставлять лопасти я пошёл сам — торопился, потому что вода уже текла и щит держали руки. Перекладывал на глаз, без мерки: наклон держал в голове, а мерка лежала в сумке, и сумка была далеко. Я переложил три лопасти — и на четвёртой уже радовался, что идёт быстрее.

Второй пуск. Колесо пошло ровнее — вода ложилась в ковш, и толчок стал слышен по ободу, как сердце. А потом одна лопасть, поставленная криво, на верхнем обороте ушла краем в борт жёлоба. Раз — шпонка треснула. Два — лопасть сорвалась с гнезда и пошла вниз, на ось.

Дальше было то, что делает рука раньше головы: я ловил её ладонью.

Звук был короткий. Я услышал его раньше боли — так всегда: сначала чужой звук, потом своя боль. Лопасть лежала у оси, оковка загнулась, а ладонь уже горела и распухала, будто я схватил её за самый горн.

Кусака завыла — не на лопасть. На меня. Собака воет

только на то, чего не может схватить зубами, а схватить надо.

Гуннар подошёл, взял мою руку, повернул к свету и отпустил. Молчал. Молчание у наковальни — четвёртый работник; молчание над раненой рукой — это другая работа, и я не знал, кто её делает.

— Молот отобран, — сказал он наконец. — Три дня.

— Три дня?

— Рука, которая бьёт, должна считать. Рука, которая бьёт через боль, — не считает. Молот отбирают не за провал, лопух. Молот отбирают, когда рука перестала быть прибором.

Мальфрида промыла, положила мочёную тряпицу и подорожник, сверху — холст. Сказала то, что говорят жёны кузнецов, когда кузнец остался без руки, а рука — без молотка:

— Сало в четверг всё равно не отменяли.

Это была не забота. Это была формула: мир не останавливается, и это единственное утешение, которое не врёт.

Копейка сидел рядом до темноты и держал мою здоровую руку двумя руками, как держит не человека, а ведро с водой через ручей. Он не умел утешать. Он умел сидеть, и его сидение весило больше любых слов, кроме одних:

— Ты же поймал её. Она не ушла на ось. Если бы не ты, ось лежала бы в жёлобе.

— Я поймал её своей ладонью, — сказал я.

— Ось стоит, — сказал Копейка. — Ось стоит.

После отбора молотка я сидел на верстаке, свесив забинтованную руку, и смотрел на сорванную лопасть. Оковка у

неё была загнута в крюк — она и спасла мне ладонь: зацепилась за оковку... за край оси? Оковка зацепилась за край жёлоба и тормознула, а не вертанула руку до кости. Я разглядывал загиб и видел в нём свою работу — и свою вину. Оковка сделана честно: она держала. Плохо было не железо. Плохо был наклон.

Гуннар взял лопасть, поставил на наковальню и постучал по оковке костяшкой.

— Слышь?

— Целое.

— Целое. — Он положил лопасть на верстак. — Колесо, лопух, простило тебя один раз. Один раз — это когда ты падаешь. Второй раз — это когда падают все. Не проси у колеса второй раз: оно не умеет прощать, оно умеет только крутить.

Кусака легла у моих ног, положила морду на забинтованную ладонь и выдохнула — тёплым, сквозь тряпицу.

— Она греет, — сказал Копейка.

— Она считает, — сказал я. — Между нами, я подозреваю, что она считает лучше меня.

Прохор пришёл вечером, когда боль уже имела имя. Посмотрел на колесо, на сорванную лопасть, на мою руку — и не спросил ни о чём из этого.

— Счёт показал? — спросил он.

— Показал, — сказал я. — Лопасть — не стена. Лопасть — ковш.

— Это стоит дороже досок, — сказал Прохор. — Я думал,

покупаю у тебя подковы. А покупаю у тебя курс на воду.

Он оставил на верстаке медяк — не плату, а знак: так платят те, кто умеет ждать счёт.

Ночью, между нами, я думал не о боли. Я думал, что лопасть, поставленная на глаз, — это та же вера в картинку, за которую я платил уже дважды: кривым ободом и полосой. В третий раз я заплатил ладонью. Счёт рос, и рос он в правильную сторону: сначала платят железом, потом временем, потом собой. Выше меня платить нечем. Значит, дальше надо не платить — считать.

А ночью пришёл стук. Три медленно, один быстро — потом тишина, потом числа: семь, один, один.

Утром я сказал Гуннару про числа. Он досчитал за меня, не глядя:

— Семь, один, один. Три дня без молотка. Он знает раньше тебя, чем ты заплатил.

Я собирался спросить, откуда он знает. А потом не стал: если он знает раньше, значит, он видел либо мою ладонь, либо моё будущее. И то и другое дороже ошибки.

**Глава двенадцатая. Три дня**

Три дня без молотка — это не три дня отдыха. Это три дня, когда ты в кузнице, а руки у тебя чужие: они подают, держат и считают чужие удары.

Гуннар ковал сам — оковки, новые клинья взамен треснувших, заплечик на запасную ось. Я стоял у наковальни счетоводом: подавал полосу, держал клещи, считал удары вслух.

Считать чужой молот оказалось труднее, чем свой. Свой молот ты слышишь локтем — он доходит до кости раньше, чем до уха. Чужой надо слушать ушами, а уши у кузнеца ленивые, их надо будить.

— Ещё, — говорил Гуннар, не глядя. — Удар в полсилы — это вежливость к железу. Железо не любит вежливости.

— Я бил в полсилы, потому что счёл, — сказал я.

— Ты бил в полсилы, потому что рука болит, а счёт ты применяешь к боли, как крышку к горшку: чтобы не выкипело, — сказал он. — Считать — это не жалеть. Считать — это знать наперёд, сколько стоит удар. Удар, который не знает своей цены, платит за всю свою жадность сразу.

На второй день ладонь перестала гореть и начала зудеть. Зуд — это, по Мальфриде, значит, живёт; гореть — это пока горело. Она мочила тряпицу в холодной воде с солью и подвязывала.

— Соли не жалей, лопух, — сказала она. — Соль работает за тебя, пока рука у тебя в отпуске. Только не вздумай ковать на зуде. Зуд — это не помощь. Зуд — это рука жалуется на скучную работу.

Копейка принёс два яйца — выменял у пастуха на обещание рассказать, как я ловил лопасть. Обещание я выполнил, яйца съел. Обмен был честный с обеих сторон, и я даже считаю, что с моей лучше: мне больно было пересказывать один раз, а Копейка рассказывал всем подряд четыре дня.

Переложить лопасти на ковш надо было до четвёртого

дня, а правая рука держала только ложку. Я перекладывал левой: клин закрутить левой трудно, но я справлялся, и справлялся тем лучше, чем меньше торопился. На четвёртой лопасти я остановился и пересчитал всё заново — так, как пересчитывают сдачу, когда в первый раз не поверил своим рукам.

Дьяк пришёл в тот же вечер — не по надобности, а со свечой. Свеча была тонкая, церковная, восковая: в ней было так же много труда, как в подкове, только труд этот не слышно.

— Держи, — сказал он. — Поставь у колеса, когда пойдёт первый оборот. Не по обряду — по привычке. Привычка сильнее обряда: обряд раз в год, привычка каждый день.

— Вы пришли уговаривать меня не гневить наместника? — спросил я.

— Я пришёл посмотреть, как вода берёт плату, — сказал дьяк. — Вода, лопух, платит раньше всех нас и ни разу не пожаловалась. Я тридцать лет слушаю, как она говорит с камнями, и ни разу не услышал в её голосе обиды. Может быть, потому, что у неё нет рук. А может, потому, что счёт она вела не в медяках.

— А в чём?

— В том же, в чём и мы, — сказал он и ушёл, не договорив, как всегда, в самое интересное место. Дьяк умеет останавливать разговор на середине слова так, что слово потом крутится у тебя в голове, как ось во втулке, — и скрипит.

Пелагея пришла с узелками на закате и приложила их к

ковшам.

— Наклон жёлоба и наклон ковша — это один счёт, — сказала она. — Я мерила жёлоб, вот узелок. Если ковш лежит по узелку, вода ляжет внутрь. Если нет — вода уйдёт, а колесо опять заплатит тобой.

— Ты опять за счёт, — сказал я.

— Я за твой счёт, — сказала она. — Это не одно и то же, но в моём доме это считают одним. — Она посмотрела на мою руку и добавила: — Отец бы сказал: это Господь тебя остановил.

— Твой отец говорит про Господа, а я думаю про лопасть.

— Это одно и то же, — сказала Пелагея. — Просто у отца в предложении больше слов, а у тебя больше железа.

На второй день пришёл Хартвиг. Он шёл с бумагой — бумага у наместника в наших краях редкость дороже коня, и свита обошла его на две версты, чтобы не слышать, как он разговаривает. Хартвиг развернул запись Ждана на опоре, придавил камнем и сказал без приветствия:

— «Мелющий снаряд». Так записано. Пошлина — полтора медяка с колеса в год, поклон сеньору при первом обороте. Это уже было в договоре. Теперь это в записи.

— Снаряд мелет или поднимает? — спросил я.

— Мелет.

— Тогда моё колесо не снаряд, пока не мелет. А ковшами оно носит воду. Воду не облагают: за воду платят те, кто её пьёт, а не тот, кто её носит.

— Ты молод, чтобы объяснять порядок, — сказал Хартвиг. — Порядок не спрашивает, скольких лет объясняющий. Он спрашивает: мелет или нет?

— Значит, пусть проверит.

— Четвёртый день, — сказал Хартвиг. — Если колесо поднимет воду на отвод — это ведро, и запись спит. Если начнёт мелить — плати по записи и стой перед сеньором. — Он свернул бумагу и добавил, уже мягче, чем ждал я: — Поклон, кузнец, я всё-таки возьму. Сеньор не читает колеса. Сеньор читает спины.

Гуннар после его ухода сказал одну фразу, и я записал её в памяти рядом с дедовой:

— Запись лжёт редко. Чаще лжёт тот, кто её читает.

Тимоха нашёл меня на третий день у опоры — из-за ивы он всё-таки вышел, когда увидел, что я хожу кругами и руки у меня заняты не тем.

— Слушай, лопух, — сказал он. — Поклон. Хартвиг его возьмёт. Это не он злой — это порядок злой, а Хартвиг честный, насколько честным бывает человек с бумагой.

— И что ты советуешь?

— Советов я не даю. Я показываю цену, — сказал Тимоха. — Цена поклона — не медяк. Цена поклона — это то, что в следующий раз Хартвиг придёт за ней без бумага. Он запомнит, что кланяешься. А память у него не податная, она колея: по ней ездят налегке.

— И?

— И поклон можно выкупить. Порядок берёт медяки. Порядок не берёт спину. Порядок, лопух, любит деньги больше, чем смирение, потому что смирение не положишь в казну, а медяк — положишь, и даже перекуёшь.

— Откуда ты знаешь про перековку?

— Я знаю всё, что лежит под столом, — сказал Тимоха. — А под столом лежат медяки и раскаяние. Раскаяние перековывают реже.

Я посмотрел на него и вдруг понял, что он подготовил мне эту мысль не для того, чтобы я выиграл у Хартвига, — а для того, чтобы Хартвиг запомнил меня как того, кто платит деньгами, а не спиной. Тимоха покупал мне репутацию, и купил её не за деньги, а за дружбу, которую он никогда не назовёт дружбой, потому что тогда она подорожает.

Ночь перед четвёртым днём я провёл у колеса. Проверял ковши по узелку Пелагеи, один за другим, восемь раз; проверял клинья; проверял опору — камень за камнем, как проверяют зубы языком, хотя язык-то не спрашивает. Кусака лежала у опоры и следила за мной глазами — не спала, а следила: у собак между этим есть разница, я это теперь знаю по себе.

Последняя ночь перед четвёртым днём была без сна у всех нас, хотя ни один из нас не признается. Копейка сидел у Бойки в конюшне и говорил с ним вполголоса — он всегда говорит с конём перед большим днём, и конь всегда спит раньше его. Мальфрида четыре раза выходила на крыльцо и четы-

ре раза возвращалась с половником, хотя греть нечего было: она грела тем, что ходила. Гуннар точил резец и точил его до звона — я слышал этот звон сквозь стену, и звон говорил: завтра.

А я лежал и думал о лопасти, которую поймал ладонью. Боль к тому времени стала не звуком, а адресом: знала, куда идти, и шла туда ровно, как вода по жёлобу. Я ловил себя на том, что проговариваю про неё по счёту — день первый: горит. День второй: зудит. День третий: зудит меньше. Это был не страх и не жадность. Это была запись. И я вдруг понял простую вещь: запись я веду не для Гуннара и не для дьяка. Я веду её для той руки, которая стучит из-под земли, — потому что если она считает моё, пусть считает честное, а не выдуманное.

Кусака в ту ночь трижды подняла голову на стук ставней — ветер шалил, и ставни играли, как играют дети, когда родители не смотрят. На четвёртый раз она не подняла голову. Она поняла раньше меня, что ставни не стучат счётом: счёт не повторяется, а повторяется только ветер.

Пуск был на рассвете. Пришли: Хартвиг с бумагой и без свиты; Прохор — с весами, хотя весов при нём не было, а была только привычка к весам; Тимоха — за ивой, откуда его видно насквозь, потому что ива была тонкая. Копейка держал уздцы Бойки — конь пришёл без приглашения, его привело то же, что и меня: чтобы посмотреть, как вода падает по счёту.

Мы подняли щит. Вода пошла по жёлобу — ровно, без жадности, как шла всегда. Она упала в первый ковш и легла внутрь. Легла — я это услышал раньше, чем увидел: звук был глухой, плотный, как звук ведра, в которое налили до края.

Колесо дёрнулось само — без рычага, без Копейки, без моих рук. Пошло. Второй оборот был ровный. Третий — ровнее. Ковши поднимали воду и сливали её в лоток, и вода текла по лотку мимо опоры — простая вода, ничья, как дорога, как ветер.

Тимоха считал вслух: шесть, семь, восемь. Прохор смотрел на лоток и на воду. Хартвиг смотрел на всё сразу и не смотрел ни на что дольше секунды, потому что память у него работала быстрее взгляда.

— Двенадцать, — сказал Тимоха. — Тринадцать. Обороты идут ровнее моих строк.

— Это не снаряд, — сказал Хартвиг наконец. — Это ведро. — Он свернул бумагу и убрал за пазуху. — Запись спит. Но поклон...

— Поклон, — сказал я и вынул медяк. — Я его отдал вместо поклона. Купи у сеньора поклон сам — у тебя медяков больше, чем у меня слов.

Хартвиг посмотрел на медяк долго — так, как смотрят не на медяк, а на то, что за ним стоит. Потом взял.

— Ты не по годам считаешь, — сказал он. — А считаешь не по годам тот, у кого за спиной счёт. — Он повернулся и ушёл пешком, как пришёл, — но на этот раз я заметил, что

он оглянулся на колесо, и оглянулся, как оглядываются на должника.

Кусака подошла к лотку, понюхала воду и посмотрела на меня. Потом на колесо. Потом снова на меня.

— Она согласна, — перевёл Копейка. — Вода несъедобная, но честная.

Пелагея стояла у жёлоба и не улыбалась. Она смотрела на воду, которая шла по лотку, и губы у неё шевелились — она считала. Считать она умела лучше всех нас и при всём этом оставалась дочерью священника, у которого свечи, хлеб и грехи тоже на счёте.

— Колесо работает, — сказала она. — Значит, работает и тот, кто его слушает под землёй.

И тут из-под земли пришёл стук. Один удар. Один — и всё. Точка.

Хартвиг не услышал — он был уже далеко. Прохор услышал и посмотрел на меня. Гуннар услышал и взял меня за здоровую руку — не чтобы удержать. Чтобы помнить, где я стою.

Гуннар после удара стоял молча, потом сказал:

— Первый оборот записан не мной и не тобой.

— А кем?

— Тем, у кого счёт длиннее наших лет. — Он отпустил мою руку и пошёл к опоре проверять клинья. — Завтра куй. Рука к вечеру простит тебе молоток, если ты не будешь жаден до него с утра.

Ночью стук не пришёл больше. И я понял, почему: колесо сделало оборот, и оборот записан. Я стоял в темноте у ручья и думал о том, что у той руки счёт сходится с моим — узелок в узелок, удар в удар. Либо она видела моё будущее. Либо она его режет. И третьего, между нами, не дано.

**Глава тринадцатая. Плата за оборот**

Первый оборот деревня запомнила так, как запоминают пожар: с уточнениями. «В четвёртом часу», «при трёх свидетелях», «конь Копейки первым испугался» — Бойка, между нами, испугался вторым: первой была Мальфрида, и она в этом не признавалась.

— Сало возвращаю, — сказала она утром, ставя передо мной миску. — Праздник назначен.

— Какой праздник?

— Тот, на который ты дал повод. Дважды за зиму повод я не откладываю. Первый был подкова. Второй — колесо. Сало положено на оба, а миска одна, так что ешь за двоих и не спорь.

Гуннар сидел у горна и смотрел на колесо через дверь. Колесо крутилось третий день — медленно, ровно, со звуком, который я сначала принял за чужое дыхание.

— Не засматривайся, — сказал он. — Оборот — не работа. Оборот — объявление. Сегодня придут те, кто объявления читает.

— Кто читает?

— Все, у кого счёт. — Он повернул полосу на наковальне.

— Ты поднял воду на глазах у всей деревни. Так не поднимают. Так сначала спрашивают.

Кусака сидела на пороге и следила за колесом, как следят за чужим хозяйством: без зависти, с расчётом. За оборот она один раз вздрагивала и прижимала уши.

— Она считает, — сказал Копейка. Он пришёл с ведром, которое не было его. — Раз за оборот — вздрагивает. Раз за оборот. У собаки счёт точнее записного.

— Зачем ей счёт?

— Затем, что если оборотов станет больше, чем она может вздрагивать, ей придётся решить: бежать или верить. Дай ей три дня. И ведро верни, оно Степаново.

— Оно пустое.

— Оно Степаново. — Копейка забрал ведро с достоинством человека, который отстоял чужое имущество, и ушёл.

Кусака тем временем сделала то, чего я не ожидал: подошла к опоре, обнюхала её по кругу и легла рядом — не на снегу, а на сухом месте, куда падала капель с жёлоба. Она выбрала место по счёту капель: одна за оборот, вторая за оборот. Собака, которая слушала стук, теперь слушала капли. Я, между нами, стал единственным в этой кузнице, кто ничего не считает бесплатно.

К обеду пришёл Мельхер. Не один — с Жданом, старшиной цеха, и с писцом, у которого под мышкой лежала книга в коже, а книга была толще писца. Мельхер был сухой, с бородой в муке, и мука на бороде была не с сегодняшнего утра

— она была статусная: по ней читали, что он не мельница, а должность.

— Твоё колесо стоит на моём отводе, — сказал Мельхер.

— На ручье, — сказал я.

— Ручей мой. Отвод записан. — Он кивнул писцу, и тот раскрыл книгу с торжественностью человека, который открывал её трижды по дороге и ждал этого момента всю дорогу.

— «Мелющий снаряд, — прочёл писец, — на ручье мельника Мельхера». И приписка: «всякий водяной снаряд».

Приписка была свежая. Чернила держали жир, буквы лежали поверх старых строк, и, между нами, я видел такое однажды — когда в школе переспрашивал у соседа по парте дату, а он дописывал её мне под мою строчку.

— Приписка свежая, — сказал я.

— Записи правят, — сказал Ждан. Он был невысокий, вежливый и держал руки так, будто отдал ему их напрокат. — Право править запись стоит денег. Деньги платил не я. Я — рука.

— Чья рука?

— Записанная, — сказал Ждан. Это был не ответ, но по-другому он отвечать не мог: старшина цеха не называет заказчика, пока заказчик сам не скажет.

Гуннар молчал. Когда при нём спорят о записи, он молчит, как при нём спорят о вере: чужое.

— Слово «водяной снаряд» сказал наместник, — сказал

я. — В кузнице. При всех.

— Мне ведомо, — сказал Ждан ровно.

— Значит, тот, кто платил за приписку, знает слова наместника раньше нас. Или сидит рядом с наместником.

— Или наместник, — сказал Тимоха от крыльца трактира. Он появился как всегда из ничего и стоял так, как стоят люди, которым всё уже рассказали. — Но это проверяют не словами. Это проверяют чернилами. Чернила не врут о том, когда их наносили. А наносили их после того, как наместник ушёл из кузницы. Я, заметь, сидел на завалинке в тот вечер и видел тень, которая шла от башни к старшине. Тень была одна, и шла она не прямиком.

— Ты продаёшь тень?

— Я её пересчитываю. Тени за деньги не продают — они общие, как ручей. — Он усмехнулся. — Как твой, собственно, ручей. Скоро и он станет чей-то.

Сход собрали в трактире, к вечеру. Сход у нас — это лавки, лица и запах лука, от которого никто не отказывается, даже когда решают чужое будущее. Селиван вынес лишнюю лавку и поставил её у стены — для спора, чтобы спорившие сидели не друг напротив друга, а рядом: спорить, глядя в один угол, труднее.

Ждан сел. Мельхер сел. Дьяк пришёл с тетрадью и сел так, что сидящие поняли: он сел не за себя.

— Запись говорит: мелющий снаряд, — сказал дьяк. — Колесо не мелет.

— Приписка, — сказал Мельхер.

— Приписка писана после того, как слово сказано, — сказал дьяк. — Слово сказано наместником. Стало быть, запись правилась не по ручью, а по наместнику. Запись — это не правда, Мельхер. Запись — это то, за что кто-то заплатил раньше тебя.

— Плата была, — сказал Мельхер упрямо.

— Я не спорю с платой. Я спрашиваю, чем платили: деньгами или шеей. Деньги возвращаются. Шея — нет.

Мельхер посмотрел на Ждана. Ждан смотрел в стол, и по тому, как он смотрел в стол, я понял: деньги в этой истории были не главным. Платили чем-то, чего на сходе не показывают.

— Что решает сход? — спросил Селиван.

— Сход решает у себя. Колесо не у нас. Оно у ручья, а ручей не наш. — Дьяк закрыл тетрадь. — Иди к наместнику, Гоша. Ты сам предложил ему слово. Теперь иди и спроси, сколько оно стоит.

— Один вопрос, лопух, — сказал Тимоха, когда сход разошёлся и лавки опустели до запаха лука. — Тебе интересно, чем Ждану платили, или тебя устраивает, что не чем-то?

— Интересно.

— Тогда это будет стоить тебе не медяк. Это будет стоить тебе одного вечера, когда я приду в кузницу и скажу тебе вещь, которую ты не захочешь слышать. Договорились?

— Ты сейчас продаёшь вещь, которой сам ещё не знаешь,

— сказал я.

— Все продают то, чего не знают, — сказал Тимоха. — За этим в лавку и ходят.

Копейка дождался, пока я выйду, и сунул мне в руку краюху с мёдом — свою, из дома, а не Хартвигову из миски.

— Это не от наместника, — сказал он серьёзно. — От наместника мёд с улыбкой. От меня — без. С мёдом без улыбки надёжнее: в улыбке всегда кто-то третий сидит.

К Хартвигу я пошёл с Кусакой. Без свиты, пешком, как и положено просителю, а Кусаку взял, потому что она брала с него пошлину — и, между нами, одна пошлина в день мне была по средствам.

Хартвиг сидел в горнице, где было чисто и холодно, как в погребе при исправном хозяине. На столе стояла миска мёда, и он подвину́л её ко мне — не потому, что накормил, а потому, что человек с мёдом говорит мягче.

— Ты сказал: воду не облагают, — сказал он вместо здорованья. — Я поверил.

— За поверенное слово платят, — сказал я. — Я помню.

— Платят и проверяют. Мельхер пришёл к Ждану раньше, чем ты пришёл ко мне. Он проиграл в очереди — это его беда, не моя. Скажи мне, кузнец, что ты покупаешь?

— Защиту колеса.

— Защита стоит не медяк. Защита стоит принадлежности. — Он ждал, и я ждал, потому что оба знали, кто из нас двоих дольше умеет ждать. — Вода идёт на барскую сторону. По-

кос там высох, и я три года слушаю, как он сохнет. Ты поднимешь воду на покос. Я плачу железом и запираю запись Ждана своим словом. Так?

— Так. А цена?

— Цена простая. Колесо под моим словом. Мастер — мой. Я покупаю не колесо, лопух. Я покупаю тебя — и дешевле, чем ты стоишь, потому что пока ты стоишь меньше, чем думаешь.

Я хотел ответить что-то умное. Вместо этого ответил честно:

— Колесо на вашей земле стоит вашего слова. Воды это не касается. Вода проходит.

Хартвиг улыбнулся. Не всякий взрослый умеет улыбаться, когда ему отвечают честно, — у него вышло.

— Слово, которое продают, — это не слово, — сказал он. — Это тариф. Ты считаешь быстрее писцов Ждана. Ладно: вода — на барскую сторону, железо — в кузницу, запись — под моё слово. Плату пришлю к полуночи.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.